



Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- [Валентин Яковенко](#)
 -
 - [Глава I. Каменщик и его семья](#)
 - [Глава II. Юношеские годы и пора сомнений](#)
 - [Глава III. Переходное время](#)
 - [Глава IV. Светская девушка и суровый пуританин](#)
 - [Глава V. В пустыне](#)
 - [Глава VI. Пора творчества](#)
 - [Глава VII. Пора творчества \(продолжение\)](#)
 - [Глава VIII. Закат жизни и общая оценка](#)
 - [Источники](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
-

Валентин Яковенко
Томас Карлейль. Его жизнь и
литературная деятельность

Биографический очерк В. И. Яковенко
С портретом Карлейля, гравированным в Лейпциге
Геданом



Глава I. Каменщик и его семья

Родина Томаса Карлейля. – Отец. – Его детство. – Характеристика. – Мать. – Общий строй семьи.

Небольшое торговое местечко Эклфекан, где родился Томас Карлейль, лежит милях в шести к востоку от Солуэйского залива. Местность эта не отличается особенными красотами, а в конце прошлого (XVIII. – *Ред.*) века она представляла еще довольно дикий уголок Шотландии. Лесистые холмы, прекрасные луга, Кумберландские горы на горизонте и шум морского прибоя, доносящийся по ветру, – вот та природа, среди которой протекло детство будущего «пророка» наших времен.

Жителей этой пограничной полосы тогда еще мало коснулась культура; благодаря тревожной жизни в эпоху, предшествовавшую объединению двух королевств, постоянным набегам и грабёжам, они отличались суровыми и грубыми нравами, умели постоять за себя и на удар ответить ударом. Они обнаруживали больше склонности к разбою, чем к рабской покорности. Вместе с тем развивались среди них и разные религиозные секты. Суровые камероны и жестокие преследования были у всех еще в памяти во время детства Томаса Карлейля. Старые секты уступили место новым, но дикий в своей непосредственности и ожесточенный тяжелыми условиями жизни народ по-прежнему не признавал установленной церкви и разбивался на множество разнообразных религиозных толков.

В семье Карлейля сохранилось воспоминание, как один из его предков был несправедливо повешен за воровство скота. Однако семейные традиции не идут особенно далеко. Много времени спустя, когда Томас Карлейль стал знаменитостью, услужливые «антиквариисты» открыли, что Карлейли – обнищавшие потомки некогда богатой и знатной фамилии, переселившейся из Англии в Шотландию во времена Давида II, что в этой семье были также свои *лорды* и так далее. Но во всяком случае Томас родился от простого крестьянина, каменщика по профессии, а впоследствии фермера, и предки его, насколько сохранились о них воспоминания, были также простыми крестьянами, зарабатывавшими свой хлеб собственными руками.

Отец Томаса – Джеймс Карлейль – личность далеко не дюжинная. В этом суровом, лишенном образования каменщике-крестьянине лежали под спудом все дарования его великого сына. Джеймс мог бы тоже стать

знаменитостью, если бы судьба не обрекла его на неустанный физический труд. В детстве он испытывал великую нужду. Его отец, и дед нашего Томаса, человек также сильный и непокладистый, тяготел больше к бродячей жизни и приключениям, мало заботился о своей семье, покидал ее и предоставлял ей самой промышлять о себе. Оставленные мать и дети часто голодали: овсяная похлебка составляла нередко всю их еду. Маленький Джеймс добыл как-то четыре картофелины (тогда картофель был еще редкостью) и припрятал их на черный день; но, увы, они проросли. «Бедные дети! – восклицает Карлейль в своих „Воспоминаниях“, – они должны были бороться и добывать сами себе одежду и пищу!» Джеймс не отказывался ни от какой работы: занимался вязаньем, крыл крыши соломой и тростником, но больше всего промышлял охотой на зайцев. Нужда закалила его и воспитала в нем настоящего стойка. По счастливой случайности в их доме поселился каменщик, который вскоре женился на его старшей сестре и обучил всех мальчиков своему ремеслу. Таким образом Джеймс бросил случайные занятия; из него вышел образцовый мастер своего дела. В юноше были задатки глубокой религиозности; он скоро подпал под влияние одного родственника и сделался убежденным верующим сектантом. Его жизнь, замечает по этому поводу Томас, озарилась небесным светом; он стал человеком. Небольшая группа религиозных отщепенцев построила в Эклфекане свою молельню – убогое здание, «покрытое вереском», – избрала проповедника и сурово проводила в жизнь свои религиозные верования. «Этот прекрасный союз, эта убогая, крытая вереском молельня, этот первобытный проповедник Евангелия» имели на Томаса, по его собственному признанию, в высшей степени благотворное влияние.

Джеймс Карлейль был женат два раза: первая жена умерла вскоре после брака, оставив одного только сына; от второй жены, Маргарет Эйткин, Джеймс имел много детей, в том числе первенца Томаса. «Во многих отношениях, – говорит Томас Карлейль в „Воспоминаниях“, – я считаю своего отца самым интересным человеком, какого только встречал когда-либо». Он отличался громадными природными дарованиями. Его блестящая смелая речь обильно, несмотря на всю его необразованность, лилась, питаемая неиссякаемыми источниками его душевных сокровищ; она изобиловала метафорами, краткими меткими выражениями и словами, определенно, живо, ясно, точно в солнечном свете рисовавшими предмет, о котором шла речь. «Я никогда не слышал подобной речи», – замечает Томас. Он не имел обыкновения клясться, да ему и незачем было: слово, вырвавшееся из его уст в минуту возбужденного состояния, проникало,

точно раскаленная стрела, в самое сердце человека и производило более сильное впечатление, чем какая угодно клятва. Он никогда не говорил о своих горестях и неприятностях (добродетель, которой, замечает Томас, мне следовало бы научиться), оставался совершенно равнодушным к людскому говору и суждениям и вместе с тем пользовался всеобщим уважением окружающих его людей. Человек всегда должен иметь в виду труд, в труде весь смысл его существования – вот великая истина, которую Джеймс Карлейль понял и усвоил, можно сказать, инстинктивно, благодаря своему прирожденному здравому смыслу, так как он был совершенно лишен того, что мы называем образованием. Пустую болтовню он ненавидел, но с удовольствием выслушивал рассказы о предметах, представлявших для него интерес, и проводил целые дни в беседе. Если судить о нем по числу сказанных слов, то его придется признать скорее за молчаливого человека. Он в немногих словах умел обрисовать целую жизнь, сразу осветить целый вопрос и так далее.

Мы все боялись его, говорит Томас, так как он отличался вообще раздражительным, холерическим темпераментом, хотя никогда не поддавался чувству гнева, никогда не доходил до бешенства. Этот гнев скорее вдохновлял его и давал ему силу глубже проникать в предметы. Нужно было быть действительно отважным человеком, чтобы устоять и не струсить перед его пылающими негодованием глазами, не утрашиться его голоса, всегда громившего всякую неправду. Несмотря на глубокую серьезность, даже суровость, это был человек, способный смеяться «во всю глотку» и от всего сердца, – человек вообще чуткий и отзывчивый; нередко можно было заметить слезы на его глазах; при чтении Библии голос его дрожал и губы кривились. Но только раз Томас видел его в припадке отчаяния, именно во время серьезной болезни жены.

«По справедливости я могу назвать его, – продолжает свои „Воспоминания“ сын, – человеком отважным. Он не боялся человеческого лица: он боялся одного только Бога. Вообще, разве я не должен радоваться, что Бог дал мне такого отца, что с самых юных лет я всегда имел перед собою образец настоящего человека? Пусть же послужит он *мне* примером! Пусть мои книги будут так же хороши, как его поступки!»^[1]

Увы, в наши дни лжеобразования только среди так называемых необразованных людей, то есть людей образованных опытом, вы можете встретить еще *человека*. Я горжусь своим отцом-крестьянином и ни за что не променял бы его ни на какого короля... Я обязан ему возвышающим, вдохновляющим примером...»

Однако дети чувствовали себя связанными в присутствии этого

сурового отца: они любили его, но не смели открыто выражать свою любовь; он казался им недоступным. Даже мать Томаса, как она впоследствии сама признавалась, никогда не могла понять мужа и говорила, что ее любовь и ее удивление перед ним всегда наталкивались на какую-то преграду. Только впоследствии, когда сам Томас возмужал и пользовался большим уважением со стороны отца, он освободился от этого невольного стеснения и мог свободно общаться с ним.

Мать Карлейля, кальвинистка, представляла собой воплощение религиозности и нежно любила своего первенца. Она неустанно заботилась как о его физическом здоровье, так и о духовной чистоте, в особенности о последней – о его религиозности. Если в отце мы находим уже все задатки, развившиеся полным цветом в сыне и из простого каменщика сделавшие его гением современной Англии, то в заботливой, любящей матери – беззаветно преданное сердце, легко и свободно отзывавшееся на все его скорби. Несмотря на то, что Карлейль не разделял впоследствии ее верований, чего она страшилась больше всего, между ними сохранились самые трогательные, самые нежные отношения. Суровая пуританка научилась даже писать, чтобы поддерживать непосредственную связь с сыном.

Само собою понятно, что общий строй семьи, образованной двумя такими личностями, не мог отличаться особенной легкостью и той буржуазной жизнерадостностью, которая составляет обычный семейный идеал в наше время. Это были серьезные, сурово религиозные, вечно трудящиеся люди, и семья их была религиозная, серьезная, трудовая.

Труд каменщика не приносил особенно больших барышей. Сто фунтов стерлингов (тысяча рублей) – вот наивысший годовой заработок, о каком только мог мечтать честный каменщик, а содержание девяти душ детей требовало немалых расходов.

Поэтому известное стеснение и тягость всегда чувствовались в доме Карлейлей, хотя до нужды дело не доходило. Одним словом, представьте себе нашу большую крестьянскую семью, принадлежащую к какому-нибудь сектантскому толку, – семью средней зажиточности, живущую исключительно трудами рук своих, поставьте во главе ее личностей в высшей степени одаренных от природы, серьезных и приверженных своему учению, и вы получите подобие семьи, вскормившей своеобразный гений Карлейля. При другой обстановке он, по всей вероятности, погиб бы бесследно для человечества. Там, «на верхах», куда неизбежно подымается со временем всякое дарование, слишком уже все противоречило основным задаткам Карлейлева гения, и только благодаря нерушимому фундаменту,

заложенному в детстве, он мог выйти победителем из столкновения с этими чуждыми ему «верхами» современного общественного уклада. «Нас всех с детства, – говорит он в своих „Воспоминаниях“, – приучили к мысли, что труд (физический и умственный) – единственное дело, которое обязательно должно делать, и нас постоянно поощряли наставлениями и примерами делать его хорошо. Затем, нас вечно окружала атмосфера непреклонного авторитета. С первого же момента жизни мы чувствовали, что наше собственное желание часто не значит еще ничего. Нельзя сказать, чтобы это была радостная жизнь (но что такое жизнь?), однако, во всяком случае жизнь спокойная, правильная и, что важнее всего, – здоровая, какая встречается вообще крайне редко. Мы все были скорее молчаливы, чем болтливы; но зато в том немногом, что говорилось, всегда было известное содержание».

Следует еще при этом заметить, что семья Карлейлей вовсе не отличалась тем пассивным прекраснородушием, которое нередко сопутствует религиозности; напротив, Карлейли во всем околоте пользовались славой людей, умеющих постоять за себя, скорее даже задорных и буйных, чем безответных и пассивных.

Итак, идеи глубокой и искренней религиозности, крайне серьезного отношения к жизни, трудового начала как основы всего, активного, деятельного существования, долга, авторитета, наконец, «великого царства молчания» и многие другие, через несколько десятков лет устами Карлейля провозглашенные перед удивленным английским обществом, привыкшем, по крайней мере в своих верхних слоях, относиться с совершенно иной точки зрения к жизни, – все эти идеи маленький Том взял из ячейки, сложенной грубыми руками простого крестьянина. В его жизни мы имеем редкий уже в настоящее время пример того, каким образом семья может содействовать развитию дарования.

Глава II. Юношеские годы и пора сомнений

Школа. – Шотландские университеты и студенчество. – В Эдинбургском университете. – Карлейль – школьный учитель. – Мечты о литературной деятельности. – Эдвард Ирвинг. – Первая симпатия. – Finis мыслям о священническом звании и учительству. – В Эдинбурге. – Сомнения. – «Нет, я не принадлежу тебе!»

Томас Карлейль родился 4 декабря 1795 года; он, как я сказал выше, был первым ребенком Джеймса от второй жены. Первоначальной грамоте научила его мать, а некоторые сведения из арифметики сообщил отец. Пяти лет Томас уже посещал деревенскую школу и к семи годам овладел вполне английской грамотой. Идти дальше значило браться за латынь; но ее не знал даже сельский учитель.

Соседи советовали отцу Карлейля на этом и остановиться, говоря: «Воспита́й мальчика, – а он вырастет и станет презирать своих необразованных родителей». Однако мужественный каменщик не побоялся трусливых пророчеств и отправил своего сына в Аннанскую школу, нечто вроде наших классических гимназий. «С благодарной верой, – говорит Карлейль, – он открыл мне дверь в тот мир, который для него остался навсегда недоступным». Отправляя своего любимца, мать взяла с него слово, что он не станет впутываться в драки с товарищами-школьниками и не будет давать сдачи. Всякий побывавший в школе поймет, как дорого бедному мальчику обошлись эти обещания. Его нещадно преследовали; он, при своем страстном и даже буйном нраве, горел желанием постоять за себя, но крепился и уходил от товарищей. Наконец ему стало невозможно. Однажды он бросился на самого большого забияку в школе и стал бешено колотить его. Последовала потасовка. Том был побит, но и противник порядочно пострадал от его кулаков. С этих пор товарищи перестали его преследовать: они убедились, что его трогать опасно.

В Аннанской школе Карлейль изучал латинский и французский языки, арифметику, алгебру, геометрию и получил общие сведения из географии. Он с жадностью прочитывал все книги, какие только мог достать. Отец, внимательно следивший за успехами своего сына, решил продолжать образование дальше и отправить его в Эдинбургский университет. Тому было всего лишь четырнадцать лет, когда совершилось это важное для него

событие. Быть может, нелишне будет сказать несколько слов о шотландских университетах того времени и о студентах, которые весьма резко отличались от английских и своим демократизмом напоминали наше студенчество недавнего прошлого; но это было еще более демократическое, настоящее крестьянское студенчество. Юноши, посещавшие в ту пору шотландские университеты, были в большинстве случаев детьми таких же бедных родителей, как и Карлейль. Они прекрасно знали, чего стоило их родителям уделять из своих ничтожных заработков даже те ничтожные крохи, на которые они существовали в университетском городе, и им приходилось дорожить своим временем, стараясь приобрести возможно больше знаний в возможно меньший период. Они могли слушать лекции только в продолжение пяти месяцев, а затем расходились в разные стороны: кто становился учителем, кто работал на ферме, кто принимался за ремесло своего отца и таким образом добывал сумму, необходимую для оплаты своего обучения. Каждый такой студент был обыкновенно надеждой семьи, самым выдающимся ребенком, на которого решались затратить последние средства, лишь бы вывести его в люди. Свои путешествия в университет и из университета домой эти истинные дети народа совершали пешком, не потому, конечно, чтобы они придерживались самодовлеющего принципа воздержания от всяких усовершенствованных путей сообщения, а просто потому, что у них не было средств. Четырнадцатипятилетнему юноше приходилось самому заботиться об устройстве своей жизни в неизвестном городе. Он приходил в Эдинбург или Глазго, определялся в университет, подыскивал помещение по своему карману и принимался за умственную работу, чтобы через пять-шесть месяцев снова возвратиться к тяжелому физическому труду. Из дому он получал съестные припасы: овсяную муку, картофель, соленое масло и изредка, что составляло уже роскошь, яйца – и отправлял домой свое грязное белье, где оно мылось, чинилось и так далее. Таким образом, между юношей и его семьей поддерживались постоянные сношения; но что касается поведения, то он предоставлялся вполне самому себе; университет также не вмешивался в его жизнь. При таких условиях особенное значение получают товарищества, возникающие обыкновенно среди молодежи; они оказывают громадную поддержку как в материальном, так и в нравственном отношении. Шотландские студенты из народа группировались в своего рода землячества, делившиеся своими материальными достатками и умственными капиталами, образовывали клубы, где обсуждали разные вопросы – научные и житейские, спорили и так далее. Такова была их обычная житейская школа, и в воспитательном отношении, то есть в

смысле образования независимого самостоятельного характера, едва ли возможна какая-либо иная лучшая школа жизни.

В ноябре 1809 года Томас Карлейль, под присмотром некоего студента «Тома малого», юноши года на два, на три старше его, отправился пешком в Эдинбург; отец и мать его провожали до большой дороги. Образ любящей матери, трогательно прощающей со своим любимцем, трепещущей за его будущность, живо рисуется ему 57 лет спустя после этого события. Если Карлейль унаследовал от отца некоторые особенности своего гения, то матери он в значительнейшей степени обязан надлежащим развитием этих способностей: она с детства окружила его атмосферой любви, истинной, правдивой религиозности, кальвинистской стойкости и непреклонности; быть может, благодаря только любящей матери и – в позднейший период жизни – любящей жене, Карлейль не погиб под тяжестью своих дарований и физических мук, так как только *любовь* могла смягчить эту страшную *серьезность*, граничащую нередко с жестокостью.

В Эдинбургском университете Карлейль не нашел сколько-нибудь выдающихся профессоров, да и не мог найти, так как университет этот был беден, а выдающиеся профессора обыкновенно дорого себя ценят. Об одном только профессоре – математике Лесли, сумевшем отличить юношу и пробудить в нем любовь к своему предмету, Томас сохранил добрые воспоминания, а остальных зло осмеял впоследствии в своем известном «*Sartor Resartus*».

Застенчивый и малосообщительный, Карлейль сошелся лишь с немногими товарищами по студенческой скамье, такими же крестьянскими детьми, как и он сам; но в этом тесном кружке он пользовался большим влиянием и играл первую роль. К нему обращались во всех затруднительных случаях за советом; его речи невольно приковывали к себе всеобщее внимание, так как были «уж слишком насмешливы для такого молодого человека», как говорили студенты постарше. В письмах его называют «Джонатаном» (имеется в виду Свифт) или «деканом» (тоже). Сотоварищи не могли не заметить, что он не похож на других, что он превосходит других и своим характером, и своим умом; уже с этого времени, даже еще раньше, о нем говорили: «Известно, какое отвращение Том питает ко всему неестественному, деланному». Таким образом, с ранних пор сотоварищи предрекали ему великую будущность в том или ином роде. По настойчивому желанию родителей Карлейль готовился к священническому званию. Но уже на студенческой скамье он сознавал, что не имеет ни малейшей склонности к этой профессии, что впереди его ожидают тяжелые сомнения, делающие ее невозможной для него, и что

дело тут, собственно, не в формализме, который не заключает в себе ничего бесчестного, раз ему предшествует вера, а именно в отсутствии такой действительной *веры*. Однако до принятия священнического сана было еще много времени. Если бы он остался в Эдинбурге, то ему пришлось бы целых четыре года слушать богословские лекции; он предпочел занять место учителя математики в Аннанской школе и уехал; таким образом, по существовавшим правилам только через шесть лет, при условии, что он будет ежегодно являться в Эдинбург и произносить там пробную проповедь, он мог получить звание священника. Но Карлейль не чувствовал также никакой симпатии и к учительской профессии. Он просто хотел освободить отца от дальнейших издержек и скопить сколько-нибудь денег, которые могли ему пригодиться в будущем. Свои учительские обязанности он исполнял вполне добросовестно, но с местным обществом не сходилась, напротив, уединялся, погружившись всецело в свои книги, особенно в «Principia» Ньютона. Его переписка с университетскими друзьями за это время обнаруживает неизменный рост умственных сил; его умственный горизонт постепенно расширяется; он научается ценить Шекспира, хотя еще и не восхищается им так, как впоследствии; «Исповедь» Руссо раскрывает ему, что он вовсе не круглый дурак, и так далее. «О Том, – пишет Карлейль к одному сотоварищу, – что ты за безумное, льстивое создание! Ты толкуешь о будущей моей известности в связи с литературной историей девятнадцатого века! Увы, мой добрый друг, если все мои фантазии, мечты и думы будут сметены прочь метлой забвения, – литературная история любого столетия не потерпит от этого ни малейшего ущерба. Но не думай, что я отношусь совершенно безучастно к литературной славе. Нет: небесам ведомо, что с тех пор, как я вообще сознательно отношусь к жизни, желание приобрести известность стало моим главным желанием. О судьба!.. Ты указуешь каждому смертному его место на этой грязной планете, возлагаешь (когда это тебе угодно) королевские и иные короны, раздаешь саны и достоинства, облакаешь властью, наделяешь деньгами и пудингами великих, благородных и тучных особ нашей земли! Соблаговоли, дабы я мог достигнуть литературной славы, сохраняя в сердце своем *непреклонную независимость, недоступную ни твоим милостям, ни твоим превратностям*; и пусть тогда голод будет моим уделом – я все-таки буду улыбаться при мысли о том, что не был рожден королем...» Девятнадцатилетний Карлейль как бы предвосхищает свою действительную судьбу. Еще далеко то время, когда он выступит на литературном поприще, но он выступит. Он не будет искать, по крайней мере, сознательно, славы, но она придет, придет несмотря на то,

или, вернее, именно *потому*, что он до конца сохранит непреклонную независимость своей мысли и своего чувства, встретит лицом к лицу нужду и всеобщее равнодушие, но не отступится ни на йоту от своих убеждений. В конце концов он победит как истинный герой и, «не рожденный королем», станет действительно одним из первых людей великой литературной республики.

В Аннанской школе Карлейль учительствовал недолго; скоро его пригласили занять место в Киркольдской школе, где он должен был выступить как бы соперником Эдварда Ирвинга, ставшего впоследствии знаменитым «чудотворцем», «пророком» и т. д., – во всяком случае личностью крайне замечательной. Однако вместо соперничества между молодыми людьми, жаждавшими идеальной жизни, установилась самая тесная дружба, у Ирвинга была порядочная библиотека, и Карлейль с жадностью накинудся на чтение; он прочитывал по целому тому Гиббона в один день. Это сочинение произвело на него сильное впечатление, сохранившееся до самой старости. За чтением следовали беседы и споры. Ирвинг мечтал о великой будущности для себя в качестве проповедника, а для Карлейля – в качестве писателя, и они с юношеским пылом обсуждали и решали всевозможные философские, религиозные и общественные вопросы. В свободное от занятий время они предпринимали отдаленные прогулки, о которых Карлейль на старости лет вспоминал с такой теплотой. «В этом мире существует немного благ более ценных, чем знания, – пишет он своей матери, – и юность есть именно пора, когда следует приобретать его». И Карлейль не растрачивал попусту своей молодости. Несмотря на старания Ирвинга, он и здесь, в Киркольди, не сошелся с обществом и продолжал вести уединенную и замкнутую жизнь. Он не мог приспособиться к тону местного провинциального общества и потому не пользовался его расположением. Его не понимали, да и он сам не понимал себя и не мог еще сознательно отнестись к бродившим в нем силам. Но сердце одной молодой девушки, к которой сумрачный, подчас язвительный и насмешливый юноша был неравнодушен и которая сама питала к нему симпатию, предугадало в Карлейле великого человека. Им, однако, не пришлось сойтись ближе: положение Карлейля было еще слишком неопределенно и шатко, чтобы он мог мечтать о семейной жизни. Любопытно прощальное письмо этой девушки. «На прощание, мой дорогой друг, позвольте мне дать вам один совет. Постарайтесь смягчить свое сердце, развить в себе более кроткие чувства. Овладейте слишком экстравагантными проявлениями своего ума. Со временем ваши дарования должны получить всеобщую известность... Гений сделает вас великим. О,

если бы добродетель сделала вас любящим!.. Постарайтесь добрым и кротким обращением заполнить страшную пропасть, лежащую между вами и обыкновенными людьми... Зачем скрывать от людей доброту, которая присуща в действительности вашему сердцу?.. Пусть ваш свет озаряет путь людям; не считайте их недостойными ваших забот и внимания... Ваш труд в этом отношении не пропадет даром... Как приятно, должно быть, пользоваться любовью и привязанностями окружающих людей!..» Любовь обладает прозорливостью, и неопытная девушка видела то, что лишь через десятки лет признали другие. Они расстались навсегда. Много лет спустя Карлейль встретил ее в Гайд-парке; она была уже важной леди, женой большого чиновника; они молча посмотрели друг на друга, и глаза ее ясно сказали ему: «Да, да, это – вы...»

Чтение Гиббона усилило сомнения, волновавшие Карлейля относительно религиозных вопросов. «Я ушел к себе в комнату, – рассказывает Карлейль про критическую минуту своей внутренней борьбы по поводу пасторства, – и тут меня обступили со всех сторон призраки из темных бездн вечной гибели: сомнение, страх, неверие, отчаяние, глумление. И я отбивался от них в невыразимой тоске...»

Как ни горько было его родителям, но им пришлось расстаться с мечтой увидеть своего сына пастором. Два раза Карлейль произносил в Эдинбурге пробные проповеди, но на этом дело и кончилось. Когда он, все еще колеблющийся, прибыл в Эдинбург в третий раз с этой же целью, то одно ничтожное обстоятельство положило конец его колебаниям. По заведенному порядку он должен был записать свое имя и внести плату, и он отправился, чтобы сделать это, но не застал дома того, кто был нужен. «Очень хорошо, очень хорошо! – сказал он себе. – Пусть это будет *finis* всем моим попыткам сделаться священником».

Однако и учительство не удовлетворяло Карлейля. Скоро школа в Киркольди и киркольдское общество ему смертельно надоели; с отъездом Ирвинга в Эдинбург он остался снова в одиночестве и решил, бросив все, уехать также в Эдинбург. «Лучше я погибну где-нибудь, чем буду продолжать заниматься этим ненавистным делом», – думал он. За время учительства он успел сберечь около 900 рублей, которых, по его расчету, должно было хватить ему, пока он подыщет себе занятие. Семья не сочувствовала его затее, но ни отец, ни мать не позволили себе ни малейшего возражения и продолжали помогать ему чем могли.

Сначала Карлейль, любивший вообще математику, думал заняться изучением инженерного искусства, но скоро бросил эту мысль и принялся за изучение юридических наук. Положение адвоката привлекало его своей

независимостью: «Особую прелесть в моих глазах, – пишет он, – имеет именно то, что профессия адвоката не требует презренного низкопоклонства». Однако через некоторое время мнение его на этот счет также изменилось: чтение юридических книг, лекций Юма, беседы с юристами-практиками привели его к убеждению, что профессия эта, при всей своей глупости и омерзительности, ничего, кроме денег, не дает. «Раз порешив с лекциями Юма, – говорит он, – я навсегда расстался с мыслью сделаться адвокатом».

Так перескакивал его беспокойный ум с одного предмета на другой, нигде не находя удовлетворения, ибо запросы его были слишком велики. А между тем внешние обстоятельства становились все тяжелей и тяжелей. Частные уроки подыскивались с трудом да и оплачивались крайне скудно; случайно Карлейль получил незначительную работу для одной энциклопедии, на весьма скарредных условиях; денег она принесла ему немного, но зато дала некоторое нравственное удовлетворение. Ирвинг, начинавший уже входить тогда в моду благодаря своим проповедям, принимал в нем самое теплое участие и, поддерживая стремления к литературе, пытался устроить его при журнале или достать выгодные уроки; но все безуспешно. Ко всем этим неудачам прибавились еще чисто физические страдания: у Карлейля развилась диспепсия, от которой он никогда уже не мог освободиться вполне, и которая мучила его особенно жестоко в эти молодые годы, словно, говорит он, крыса грызла дыру в животе. Его не страшила нужда. Матери он писал: «Один французский писатель, Д'Аламбер (принадлежащий к немногочисленному кругу людей, действительно заслуживающих почетного титула честных), утверждает, что всякий посвящающий свою жизнь науке должен взять своим девизом следующие слова: „свобода, истина, бедность“, так как тот, кто боится бедности, никогда не может достигнуть ни свободы, ни истины». И Карлейль принимал бедность как нечто неизбежное для себя. Но ему приходилось считаться не только с бедностью; «истина» и «свобода» дались ему лишь после мучительной внутренней борьбы, о которой он сам с ужасом вспоминал впоследствии.

Пока Ирвинг оставался в Эдинбурге, их разговоры, споры и мысли вращались больше около общественных вопросов: положения народа, социальной несправедливости и так далее; они негодовали и радикальничали; но с отъездом Ирвинга в Глазго Карлейль снова остался один; он и здесь, в Эдинбурге, не сумел завязать знакомств. Тогда-то наступило для него действительное испытание, и перед ним встали в своем обнаженном виде глубочайшие, «вечные» вопросы: что такое этот мир и

что такое эта человеческая жизнь? Или, как он говорит о Магомете в своих «Героях»: «Что такое я? Что такое эта бесконечная материя, среди которой я живу, и которую люди называют Вселенной? Что такое жизнь, что такое смерть? Чему я должен верить? Что я должен делать?» Карлейль не мог обойти молчанием все эти вопросы: он не мог оставить их без ответа и успокоиться на одном лишь отрицательном отношении к старым формам верований. Воспитанный в религиозной атмосфере, он полагал, что недостаток веры есть грех, но что вместе с тем он загубит свою душу, если станет притворяться, будто бы верит в то, что его разум считает ложью.

Физическое и нравственное состояние Карлейля сильно встревожило родных; они не имели особых познаний, не допускали никаких сомнений относительно своей веры и готовы были думать, что Томасом овладел злой дух, в особенности когда он приехал домой и бесцельно скитался, ничего не делая, ничего не читая и не зная, куда деться от тоски. Отец не тревожил его расспросами и предоставил всецело самому себе; но мать страдала жестоко, глядя на него. Ведь это было ее любимое детище, ее гордость; она не могла удержаться от сетований и увещеваний; ее терзало не столько неопределенное и безотрадное положение ее сына, сколько его религиозные сомнения. И нужно видеть, с какой любовью и заботливостью Том старался убедить ее, что, в сущности, он продолжает верить в то же самое, во что верит и она, что изменилось только, быть может, внешнее выражение его верования и так далее. «Наши характеры, – пишет он ей, – имеют гораздо больше общего, чем вы думаете, и наши убеждения, хотя они и облекаются в различные одежды, также, я это хорошо знаю, все еще сходны по существу. Я с почтением отношусь к вашим религиозным чувствам и уважаю вас за них больше, чем уважал бы, если бы вы были самая знаменитая женщина в мире, но не имели бы их...» Но в беседе с Ирвингом он признался, что не думает уже больше, как он, Ирвинг, о христианской религии и что следует отложить всякие надежды на то, что он снова возвратится когда-либо к своим прежним верованиям.

Почти целых три года Карлейль мучился этими безысходными сомнениями, и только в 1821 году, когда ему было уже 26 лет, в нем произошел радикальный поворот от отрицания к утверждению, а затем наступил медленный процесс развития положительного мирозерцания. Этот поворот, или это «крещение огнем», как называет его Карлейль, описан им с автобиографической точностью в сочинении «Sartor Resartus», где под профессором Тейфельсдрекком он подразумевает, собственно, самого себя... Преисполненный некогда религиозностью профессор не скрывал, что он стал совершенно нерелигиозным человеком! «Тяжелое

сомнение, – говорит он, – превратилось в неверие; туча за тучей грозно надвигаются на вашу душу, пока все не затянет неподвижный беззвездный мрак преисподней...» Для тех, кто размышлял о человеческой жизни и к своему счастью понял, что вопреки теоретической и практической философии «прибылей и убытков» душа не есть синоним желудка; кто понял, следовательно, говоря словами нашего друга, что «для благополучия человека, собственно, необходимо одно – вера»; понял, как благодаря вере мученики, люди слабые в других отношениях, могут радостно переносить позор и нести свой тяжкий крест, а без нее светские люди кончают свое жалкое существование самоубийством среди окружающей их роскоши, – для таких людей будет ясно, что утрата религиозной веры в глазах чистого, нравственного существа равносильна утрате всего. Несчастный молодой человек! Все твои язвы, причиненные долго длившимися лишениями, все раны, нанесенные острым кинжалом лживой дружбы и лживой любви, все болячки твоего столь жизнерадостного сердца залечились бы, если бы только ты не утерял живительной силы искренней веры! В порыве своих диких чувств ты мог бы воскликнуть тогда: «Значит, не существует никакого Бога! Или, в лучшем случае, это Бог отсутствующий, успокоившийся навеки после первого субботнего дня, расположившийся в стороне от своей вселенной и спокойно созерцающий ее дела! А слово долг не имеет никакого значения? Разве то, что мы называем долгом, не божественный вестник и указатель пути, а лживый призрак, порожденный желанием и страхом? Счастье спокойной совести! Разве Павел из Тарса, которого люди, удивляясь, считают с тех пор святым, не чувствовал, что он был величайшим грешником... Разве геройское воодушевление, называемое нами добродетелью, есть только страсть, только кипение крови, волнующейся *выгодным* для других образом?..» И блуждающий скиталец подымал вопрос за вопросом и загонял их в пещеру сибиллы-судьбы; но ответом ему было одно только эхо! Прелестный некогда мир казался ему теперь страшной пустыней, где слышались лишь завывания диких зверей и пронзительные крики отчаивающихся, исполненных ненависти людей. И не видно было больше столпа – днем облачного, а ночью огненного, – который указывал бы надлежащий путь... Люди, как и он сам, представлялись будто запроданными безверию; древние храмы с их богами, остававшиеся долгое время во власти непогоды, разрушились, и все спрашивали: «Где Бог? Мы не видели его никогда своими глазами...»

Несмотря на это, нашего профессора-Диогена (понимайте – Карлейля) нельзя было бы все-таки назвать нечестивым. Напротив, в этот период сомнений относительно существования самого Бога он даже более чем

когда-либо был служителем Его. Сомнения и вопросы причиняли ему несказанное горе, но он не переставал питать искренней любви к истине и не отступался от нее ни на йоту. «Истина! – восклицает он, – хотя бы небеса раздавили меня за нее! Ни малейшей фальши, хотя бы за отступничество сулили целый рай!» То же он чувствовал и относительно поступков, дела. Если бы божественный вестник возвестил ему с облаков: «*Вот что ты должен делать*», или если бы эти же слова написала на стене некая чудодейственная рука – с какой готовностью он бросился бы даже в пламя преисподней!

«Но самое тяжкое мучение среди всех этих страданий представляло сознание своего собственного *бессилия*; а между тем человек только тогда может познать свою силу, когда он начнет *делать*. Какая громадная разница между смутной, блуждающей способностью и определенным, решительным поступком! *Дело* – это зеркало, в котором человеческий дух впервые может видеть свои собственные очертания... Поэтому невозможное правило: „Познай самого себя“ – следует заменить другим: „Познай, что ты можешь делать“. Несчастье Тейфельсдрека и состояло в том, что все его дело сводилось к нулю. „Обладаешь ли ты, – спрашивает он себя, – хотя бы такими способностями, таким достоянием, как большинство людей, или же ты совершенный олух в современном смысле?.. Но, увы! неверие в самого себя – страшное неверие! А каким же образом я мог верить? Разве моя первая и последняя вера в самого себя, когда, казалось, даже небеса лежали раскрытыми передо мною и я дерзал любить, не была разрушена самым жестоким образом? Первоначальная тайна жизни становилась для меня все более и более таинственной... Слабое существо среди грозной бесконечности, я, казалось, имел одни только глаза, и те для того, чтобы видеть собственное злополучие. Невидимая, непроницаемая стена отделяла меня от всего живого... Во всем мире не существовало груди, которую я мог бы с верою прижать к своей... Я наложил печать молчания на уста... Я жил в полном отчуждении от людей. Мужчины и женщины, окружавшие меня, представлялись мне безжизненными автоматическими фигурами, и я жил и двигался среди них, как какой-то дикарь, как тигр в лесной чаще... Мне было бы несколько легче, если бы я мог, подобно Фаусту, вообразить, что меня искушает и мучит дьявол, так как преисподняя без жизни, хотя бы и дьявольской жизни, еще более ужасна... Но в наше время всеобщего крушения и безверия сам дьявол ниспровергнут, и мы не можем верить даже в него... Таким образом, вся вселенная представлялась мне лишенной жизни, цели, желания, даже вражды и стояла перед моими взорами в виде чудовищной,

мертвой, неизмеримо громадной паровой машины, вращающей своими колесами с мертвенным равнодушием, чтобы сокрушить и перетереть меня член за членом... О, пустынная унылая Голгофа! О, мельница смерти!“»

В течение долгих лет наш Тейфельсдрек-Карлейль находился в подобном состоянии предсмертной агонии; сердце его, не увлажненное небесной росой, тлело в медленном серном пламени. Он не питал никакой надежды и никакого определенного страха ни по отношению к людям, ни по отношению к дьяволу; и между тем он жил в вечном мучительном ужасе перед чем-то неведомым, готовым обрушиться на него; небо и земля представлялись ему как бы двумя неизмеримо громадными челюстями прожорливого чудовища, перед которыми стоял он, дрожа от страха и каждую минуту ожидая, что страшное чудовище пожрет его... Так сомневался и мучился он. Но вот, пробираясь однажды по грязной маленькой улице «Св. Томаса в преисподней», он вдруг остановился на одной мысли и спросил себя: «Чего же ты страшишься? Зачем, подобно трусу, вечно хнычешь и стонешь, ползаешь и трепещешь? Презренное двуногое! В чем же суть всех ожидаемых тобою бед? Смерть? Ну, хорошо, смерть; прибавь еще мучения преисподней и все страдания, которые дьявол и человек могут и захотят причинить тебе! Но разве у тебя нет сердца, разве ты не можешь перенести всего, что бы ни случилось, и как дитя свободы, хотя бы и покинутое дитя, попать ногами самую пучину ада, когда она разверзнется, чтобы поглотить тебя? Пусть же она разверзается: я встречу и отрину ее!»

И точно огненный вихрь, говорит Карлейль, пронесся в его душе и унес навсегда подлый страх. Он почувствовал в себе неведомую до тех пор силу; он почувствовал в себе живого духа, почти Бога. «Вечное нет» задрожало во всех тайниках его существа, и его я, встав во всем своем природном величии, горячо заявило свой протест. «Вечное нет» сказало: «Взгляни: ты без роду и племени, ты покинут всеми, вселенная принадлежит мне». На это он со всею мощью своего существа ответил: «Я не принадлежу тебе, я свободен и навеки ненавижу тебя!»

Таким образом совершилось знаменитое «крещение огнем». Эти искушения, эта борьба и победа невольно переносят нас во времена давно минувшей старины – так мало общего имеют они, по-видимому, с тенденциями нашего материалистического века; а между тем великий человек, боровшийся «с дьяволом» и победивший его, умер всего десять лет тому назад...

Глава III. Переходное время

Джейн Уэлш. – Позднейшие саморазоблачения Карлейля. – Дружба с мисс Джейн. – Работа над своим развитием. – Знакомство с немецкой литературой. – Шиллер. – Гёте. – Материальное положение. – Мечты о книге. – Работа в журналах. – «Жизнь Шиллера». – Перевод «Вильгельма Мейстера». – Сатана, нашептывающий мысли о самоубийстве. – Лондон. – Бирмингем. – Париж.

В то время, когда внутренняя борьба Карлейля завершилась, как он выражается, «крещением огнем», он познакомился с Джейн Уэлш, своей будущей женой, в лице которой судьба послала ему достойного спутника жизни.

Джейн уэлш – личность далеко не заурядная. Но ее дарованиям не суждено было развиваться самостоятельно. Она посвятила всю свою жизнь сумрачному проповеднику религиозного обновления, этому непреклонному пуританину, занесенному судьбою в мутные потоки буржуазного водоворота. Его суровый гений, так сказать, вобрал в себя все силы ее возвышенного сердца и тонкого, пронизательного ума, а самое ее обреч на трудную и, если хотите, даже подвижническую жизнь с раздражительным, желчным человеком, всецело поглощенным своим делом, своим служением вечной правде... Некоторые английские биографы находят, что Карлейль уж слишком безучастно относился к своей жене, и обвинения свои строят на словах самого же Карлейля, собравшего после смерти жены все ее письма и снабдившего их комментариями. Нужно заметить, однако, что эти письма, в том виде, в каком они были собраны, не предназначались к печати и что в примечаниях Карлейля отразились слишком тонкие интимные движения человеческой души; их невозможно брать *à la lettre*.^[2] Что Карлейль, потеряв любимое существо, с которым была связана вся лучшая пора его жизни, все его великие произведения, и бросая ретроспективный взгляд на прожитую жизнь, мог взводить на себя даже небывалые преступления, в этом нет ничего удивительного, это даже, можно сказать, в порядке вещей. Но не в порядке вещей, если биограф на основании этих самообличений вздумает составлять свой обвинительный акт и подкапываться под великого человека. Затем не следует упускать также из виду того, что жизнь кажется тяжелой или легкой смотря по тому, с какой точки зрения мы станем судить о ней. С барской точки зрения жизнь светской девушки Джейн Уэлш с сыном каменщика Томасом

Карлейлем была, конечно, сущим несчастьем... Но барская точка зрения будет ли, вообще, справедливою точкой зрения?..

Мы не станем вмешиваться в распри английских биографов, из которых одни держат сторону Карлейля, а другие – его жены. Карлейль не зарыл данного ему таланта; он работал над ним, как немногие работают; он посвятил всю свою жизнь этой работе. Джейн Уэлш присоединилась к нему; она пошла за ним; но как более слабая она могла лишь помогать ему. Человечество несомненно только выиграло от союза этих двух лучших своих представителей: оно получило обратно свой талант с громадными процентами. Всякие же гадания относительно того, что было бы, если бы случилось то, чего не было, как могли бы быть счастливы в личной жизни он или она, если бы судьба связала его или ее с другим человеком, и так далее, всякие такие гадания – пустая и даже вредная трата времени...

Итак, в 1821 году Карлейль познакомился с Джейн Уэлш, считавшей в числе своих отдаленных предков знаменитого Нокса, родоначальника шотландских пуритан и героя в духе Карлейля. Отец ее, врач (в эту пору его уже не было в живых), оставил своей единственной дочери небольшое поместье Крэгенпутток, вполне, однако, обеспечивавшее ее существование. Ей было тогда всего двадцать лет. Она слыла красавицей. Ее большие черные глаза, светившиеся кроткой насмешливостью, широкий лоб, бледный цвет лица, маленькая, воздушная, грациозная фигура привлекали внимание многих искателей красоты. Притом она была также прекрасно образованна: знала музыку, рисование, математику, новые языки, из древних – латинский, и так далее. Девушкой она писала стихи, которые биографы считают не лишенными некоторых достоинств. Одним словом, будущее, по-видимому, улыбалось изящной мисс Джейн. В числе ее поклонников находился, между прочим, и знакомый уже нам Ирвинг, ее учитель; он пользовался взаимностью, но, связанный обещанием с другой девушкой, не мог считать себя свободным, так как последняя не соглашалась отказаться от него добровольно. А обычаи в Англии, особенно в то время, были еще сильны. В конце концов ему пришлось жениться против своего желания. Карлейль не знал, какая драма разыгрывалась в сердце его друга, когда тот знакомил его с мисс Джейн; он сам переживал в эту пору труднейший момент своего внутреннего развития и чувствовал себя совершенно одиноким; никому не было дела до его борьбы, никто не мог помочь ему, и он молча должен был напрягать все свои силы, чтобы вырваться из когтей сомнения.

Девушка произвела на него прекрасное впечатление в первую же встречу. Он мог с нею беседовать обо всем, что интересовало его; она

внимательно слушала, охотно подчинялась его руководству в выборе книг для чтения и так далее. Они сблизились, и между ними завязалась дружеская переписка. Вскоре после этого знакомства Карлейль «поймал за нос своего дьявола», как он выражается, то есть покончил со своими сомнениями. Не общение ли с Джейн Уэлш помогло ему? Конечно, о любви между ними не было еще сказано ни слова; но ведь любовь дает о себе знать много раньше, чем о ней заговорят...

Однако ни новое знакомство, ни внутренняя борьба не мешали Карлейлю работать над своим развитием; он много занимался, много читал. Он не питал особенной склонности к классикам: его интересовали не Греция и Рим, а современная жизнь, современная Европа, современная Шотландия, «злобы дня», восемнадцатый век с его громкими событиями и открытиями; все эти вопросы он старался рассмотреть со своей философской точки зрения. Английская литература ему была уже достаточно основательно известна. Он принялся за изучение итальянского и испанского языков, читал Д'Аламбера, Дидро, Руссо, Вольтера. Но и это его не удовлетворило. Тогда он взялся за немецкий язык, и тут-то перед ним открылся целый неведомый до тех пор мир. Он попал в свою настоящую сферу. «Я мог бы вам многое порассказать, – пишет он в одном письме, – о новых небесах, о новой земле, которые раскрылись мне благодаря изучению немецкого языка». Действительно, гений Карлейля ожил от прикосновения к отвлеченному немецкому идеализму. Впоследствии, когда ему удалось выйти на самостоятельную дорогу, он сумел преобразить этот немецкий идеализм в английский реализм, сумел толковать о наиболее конкретных вещах с самой возвышенной идеальной точки зрения. Первым делом он увлекся Шиллером. Однако Шиллер не удовлетворил его вполне; он искал не одного только возвышенного идеализма, благородства и чистоты, но также и глубины, проникающей в самую суть духовных и социальных проблем. Шиллер велик, сказал он себе, но не самый великий, – и обратился к Гёте, который, собственно, и раскрыл ему глаза. Гёте и Карлейль – что, казалось бы, между ними общего? И, однако, великий объективист Гёте был духовным отцом великого моралиста Карлейля, если только гений вообще нуждается в преемственности. Гёте не принадлежал ни к какой из существовавших в ту пору политических партий, он не придерживался никакого политического исповедания, выливающегося в определенные формулы. Он изучал общество и свой век во всех отношениях и со всех сторон. Он страдал, глядя на их несовершенство; он разделял тяжелые предчувствия относительно будущего лучших умов своего времени; он задумывался над возможностями и средствами выйти из

этого положения; но иллюзии не имели над ним власти: он обращался к одной только истине, к тому, что считал истиной, и с нею одной только ведался. И он не впал в суеверие (в широком смысле этого слова) и не стал атеистом. «Он оставался верен всему, чему только разум мог наставить его, и, встретив лицом к лицу всевозможного рода духовных драконов, казалось, победоносно поднялся в атмосферу спокойной мудрости...» Гёте одолел именно тот путь, на который вступал Карлейль; он проложил уже первую тропинку, и Карлейль пошел по ней. Обоим им, можно сказать, светила одна и та же звезда среди переживаемых всем миром сумерек, единственная путеводная звезда непреходящей истины и правды; а затем, конечно, каждому открылся свой собственный горизонт: одному по преимуществу красоты, другому – правды.

За Гёте последовали Жан-Поль, Гофман, Фихте и другие немецкие поэты и мыслители; одним словом, Карлейль скоро изучил вдоль и поперек немецкую литературу и принялся пересаживать ее на английскую почву. Сначала его попытки встретили недружелюбный прием, но через некоторое время стало ясно, какую богатую сокровищницу мысли он открывает своим соотечественникам, и за ним навсегда сохранился авторитет истинного знатока и ценителя немецкой литературы.

Возвратимся, однако, к его жизни. Материальное положение Карлейля по-прежнему было не особенно блестяще: кое-какие уроки, случайная литературная работа, наконец, перевод «Начал геометрии» Лежандра – вот и все, что он мог приискать себе. Ирвинг не переставал заботиться о своем друге, находясь тогда в зените своей славы и имея большие связи в высшем лондонском обществе. По его рекомендации некто Буллер пригласил Карлейля воспитателем к своим детям с вознаграждением в две тысячи рублей ежегодно. Этого было для Карлейля вполне достаточно. Он мог помогать своим родным и первым делом своему брату Джону, который по его настоянию поступил в Эдинбургский университет на медицинский факультет. Также у него оставалось свободное время для собственных занятий. Он писал, но его не удовлетворяли случайные мелкие статьи; он мечтал написать книгу и чувствовал в себе достаточно сил для этого, но не мог еще сосредоточить их на каком-нибудь определенном предмете. «Для меня несомненно, – говорит он в письме к брату Джону, – что я должен написать книгу. Да помогут мне только небеса найти предмет, который я мог бы обсудить надлежащим образом и к которому бы я в то же время чувствовал влечение. Я не могу наверняка сказать, обладаю ли я хоть самым малейшим гением, но я знаю, что во мне достаточно настойчивости, чтобы не успокоиться в бездействии». В это же время он пишет Уэлш:

«Мне предстоит еще много бороться и многое сделать. Те немногие идеи, которыми я действительно обладаю, рассеиваются еще в тысячи различных направлений, лежат расчлененные и разъединенные, без формы и содержания; я еще не овладел как следует своим пером, не создал непосредственных, близких отношений с читающей публикой... Тем не менее, я должен проявить настойчивость и добиться своего...» То же он говорит и в письме к матери: «Я намерен написать книгу; мне предстоит высказать мысли и совершить дела, о которых не многие догадывались в этом мире. Мои слова могут показаться пустым тщеславием, но это не совсем так. Я вижу, что всемогущий Творец наделил меня умственными талантами и проблеском высшего понимания, и я счел бы самой тяжелой изменой против Него, если бы пренебрег возможностью усовершенствовать их и не воспользовался в полную меру моих сил Его щедрой милостью ко мне...»

Благодаря Ирвингу один издатель предложил Карлейлю сотрудничать в его журнале, и Карлейль написал ряд очерков о Шиллере, вышедших впоследствии отдельной книгой под заглавием «*Жизнь Шиллера*». Немногие биографии, существующие на английском языке, говорит Фроуд, сравниваются с этой по своему изяществу, по ясности, благодаря которой фигура Шиллера выступает вполне отчетливо, и вместе с тем по сжатости, когда отбрасывается все не имеющее существенного значения. Гёте высоко ценил эту биографию и вскоре выпустил под своей редакцией перевод ее на немецком языке; он сразу признал в молодом, неизвестном еще тогда шотландце человека, одаренного истинным гением, и говорил о нем как о новой нравственной силе, относительно которой невозможно заранее предсказать, какой высоты она достигнет. Совершенно иначе отозвались на начинания Карлейля его соотечественники; сначала они сделали в его сторону несколько легких покровительственных кивков, но скоро переменились и стали относиться к нему с презрением и злобой. От Шиллера Карлейль перешел к Гёте и занялся переводом «*Вильгельма Мейстера*». Несмотря на то, что он изучил немецкий язык при помощи грамматики и словаря и никогда не говорил по-немецки, перевод его считается образцовым, каких вообще очень немного во всей переводной литературе.

Внутреннее беспокойство и недовольство не оставляли, однако, Карлейля. Так, в дневнике его от 31 декабря 1823 года (ему было тогда уже 28 лет) читаем: «Еще один час – и 1823 года не станет. Чем же я могу отметить этот год в своей жизни? Почти ежедневными смертельными муками... Счастливая юность! Еще год или два – и она кончится. Еще год

или два – и ты всецело превратишься в этот *caput mortuum*^[3] своего прежнего „я“, в жалкую, глупую, завистливую, разочарованную, презреннейшую тварь на поверхности земного шара. Проклятие, тяготеющее надо мной, чернее и тяжелее выпадающего на долю других людей: я чувствую себя точно заключенным в разлагающемся трупе, каждое отверстие в котором превращается в лазейку для терзания, пока ум не ослабеет и не помрачится и голова и сердце не превратятся в пустыню, покрытую мраком. Чем я заслужил эти муки?.. Не знаю; да и узнаю ли когда-нибудь?.. В таком случае почему же вы не покончите с собой, милостивый государь? Разве не для этого существуют мышьяк и разные другие яды или веревка и нож? Совершенно верно, сатана, все эти предметы существуют; но будет еще время воспользоваться ими, когда я совершенно проиграю ту игру, которую теперь только еще *проигрываю*. Вы замечаете, милостивый государь, что во мне есть еще кое-какие проблески надежды, и пока живут мои друзья, моя мать, отец, братья, сестры, до тех пор я обязан выполнять свой долг – не разбивать их сердец, если бы даже надежда покинула меня совсем. В силу указанной причины, если не существует иных, которые, однако, я уверен, существуют, снисходительный сатана извинит меня. Я не намереваюсь сделаться самоубийцей: Бог, существующий в небесах, запрещает!..» В заключение своей записи Карлейль восклицает: «Я нуждаюсь в здоровье и здоровье!..» Действительно, страдания от несварения желудка были крайне тяжелы. «Едва ли, – говорит Фроуд, – нашелся бы в Шотландии или даже во всей Англии человек одних лет с Карлейлем, обладавший такими же громадными познаниями и видевший так мало свет Божий». Он прочел поразительную массу книг по истории, поэзии, философии; вся современная литература – французская, немецкая, английская – была ему знакома лучше, чем кому-либо другому; а его способность самостоятельно перерабатывать все прочитанное была поистине изумительна. Однако дальше Эдинбурга и Глазго он не бывал, и знакомство его с культурным интеллигентным обществом ограничивалось несколькими случайными встречами. Ирвинг звал его к себе, убеждая, что Лондон примет с распростертыми объятиями всякого нового человека, отмеченного печатью гениальности. Но Карлейль лучше знал самого себя; он понимал, что люди с его дарованиями, с его оригинальностью завоевывают себе известность после упорной и продолжительной борьбы. Он колебался. Однако надо же было посмотреть Лондон, надо было познакомиться с тем литературным миром, в котором он решил теперь жить и умереть; надо было посмотреть на жизнь в самом ее средоточии. И Карлейль, воспользовавшись

свободным летним временем, отправился к своему другу. Из Лондона он ездил в Бирмингем и прожил там несколько месяцев; наконец в обществе своих новых лондонских знакомых предпринял кратковременную экскурсию в Париж. Таким образом, в короткий период времени он обогатил свой ум массой живых впечатлений. Промышленный Бирмингем познакомил Карлейля с социальными проблемами, как они ставятся самой жизнью, и он воспользовался своими впечатлениями впоследствии, когда ему пришлось писать о чартизме и т. п.; а посещение Парижа и разных его исторических достопримечательностей очень пригодились ему, когда он задумал написать «Историю французской революции».

Возвратившись назад, Карлейль скоро разошелся с Буллерами и все упования свои возложил на литературу. В это же время произошло его окончательное сближение с Джейн Уэлш, а затем последовала женитьба, о чем мы и расскажем теперь.

Глава IV. Светская девушка и суровый пуританин

Маленькое кокетство. – Независимое положение. – Мысль о деревне и ферме. – Первое письмо от Гёте. – «Жалкая будущность». – Любовь и влюбленность. – «Человек, воспрянь!» – На ферме с братом. – Джейн Уэлш становится женой Карлейля.

Дружба между мисс Джейн и Карлейлем долго не выходила за пределы литературного общения. Когда он заговорил однажды, по естественному для молодого человека влечению, в более интимном тоне, она тотчас же его остановила и дала понять, что такой тон ей неприятен и что их отношения не должны выходить из сферы братских чувств. В то время симпатии девушки лежали всецело на стороне злополучного Ирвинга. Ирвинг женился на другой; она страдала; но в молодые годы самые глубокие раны легко залечиваются. Карлейль преклонялся перед нею и обожал ее, хотя считал недостижимой для себя; он не имел никаких поместий, никаких капиталов, и будущее его было еще совершенно темно. Она также не думала о нем как о своем суженом, но его любовь льстила ее самолюбию. Ей нравилось, что замечательнейший человек, какого только она встречала, «лежал у ее ног». В серьезные минуты она говорила, что их встреча составляет эпоху в ее жизни, что он оказал громадное влияние на ее характер и на всю ее судьбу. Но затем она впадала в насмешливый тон и начинала подсмеиваться над его провинциальным произношением, над его горячими, страстными речами и так далее. Одним словом, она играла им, то гнала прочь, то приближала, ссорилась и мирилась по своей прихоти. Однажды она написала ему более задушевное и теплое письмо чем обыкновенно, благодарила его за любовь и так далее. Карлейль принял это за согласие стать со временем его женой. Она поспешила разочаровать его. «Мой друг, – писала она, – я люблю вас; я повторяю это, хотя и считаю несколько безрассудным выражаться таким образом. Все лучшие чувства моего существа сливаются в моей любви к вам. Но если бы вы были мне братом, я также любила бы вас. Нет. Вашим другом я буду, верным, самым преданным другом... но вашей женой – никогда. Никогда, если бы даже вы были так богаты, как Крез, и так славны и знамениты, как вы будете со временем...» Карлейль мужественно встретил свое несчастье: его сердце было из слишком прочного материала, чтобы разбиться от подобной

неудачи. Отказывая решительно Карлейлю в своей руке, мисс Уэлш в то же время делает завещание, по которому все имущество, оставленное ей отцом, передает своей матери на тот случай, если она выйдет замуж за несостоятельного человека, а после смерти матери и своей смерти завещает его Карлейлю.

В 1823 году мисс Уэлш приехала в Эдинбург и прожила здесь некоторое время у своей подруги. Она часто встречалась с Карлейлем, и они немало спорили и ссорились. Она мучила его своими выходками и довела до того, что он, потеряв однажды терпение, хлопнул дверью и ушел. Девушка поторопилась извиниться. «Только злой дух, – сказала она ему, – мог подталкивать меня мучить и вас, и себя так, как я это делала в тот злополучный день...» В это же время она, по-видимому, обещала ему выйти за него замуж, как только он приобретет себе независимое положение. Карлейль сам искал такого независимого положения, но он искал совершенно другими путями, чем это обыкновенно делают люди. Независимое положение обеспечивается материальным достатком, и бедный человек, прежде чем приобрести такой достаток, принужден пройти «огонь и медные трубы» зависимости. Карлейль же решил идти обратным путем: он сохранит полную независимость мысли, а затем «средства» должны прийти сами собой, а если они не придут, он все-таки не изменит себе. Он решил, что «никогда не запродаст своей души чорту, никогда не станет говорить того, чему он не верит, никогда не станет делать то, что он в глубине своего сердца не считает правильным...» С таким бесповоротным решением и без всяких средств он пустился в безбрежное житейское море и победоносно переплыл его на своей ладье независимости.

Присмотревшись к лондонской жизни, к литературным кружкам и принимая во внимание свое физическое и душевное состояние, Карлейль решил переселиться обратно в деревню. Ему нужно ведь немного: чистая комната, чистое платье, свежая пища – вот и все. Следует взять в аренду ферму и обставить ее всем необходимым; брат Александр будет обрабатывать землю, он же сам отдастся всецело своему призванию – науке и творчеству. Для начала у него имелось несколько сотен рублей, а дальнейшее существование, по его расчету, будет обеспечено их совместным трудом с братом. Но прежде чем окончательно решиться на этот шаг, Карлейль написал письмо девушке, которая обещала разделить его жизнь, как только он в состоянии будет устроить ее сколько-нибудь комфортабельно. Он описывает ей лондонскую жизнь и лондонских литераторов: «У этих людей нет вовсе крови в жилах, – пишет он, – это

даже не люди, это какие-то манекены, умеющие писать журнальные статьи». Затем он говорит, что если бы у него был кусок собственной земли, он тотчас же принялся бы за хозяйство, что он должен снять ферму и разделить свое время между умственным и физическим трудом, и т. д. Но мисс Уэлш, хотя и видела, с каким человеком связывает ее судьба, не понимала, однако, достаточно ясно, при каких условиях мог вполне развиваться этот своеобразный гений. Карлейль – фермер... Ей показалось это ни с чем не сообразным, и она осмеяла его планы.

В это время Карлейль получил первое письмо от Гёте. Маститый поэт благодарил его за присылку перевода «*Вильгельма Мейстера*» и поощрял молодого переводчика к дальнейшим работам. Для начинающего писателя это значило, конечно, очень много. Его заметил и его ободрял человек, который стоял целой головой выше своих современников и не любил говорить комплименты из пустой вежливости. Это еще более укрепило стремление Карлейля идти своей дорогой, и чем больше он размышлял о будущем, тем настойчивее возвращался к мысли о ферме. Но мисс Уэлш? Она говорит, что он не способен к фермерскому труду, она шутливо предлагает ему снять в аренду Крэгенпутток. А почему бы и не так? – думает Карлейль. И он принимает ее шутку всерьез и снова шлет ей обстоятельное письмо.

«Вы требуете, чтобы я сообщил вам, на чем я порешил, что намерен предпринять. Но не я, а вы должны решать. Я постараюсь объяснить вам, чего я желаю, а вы скажете, возможно ли достигнуть этого. Вы говорите, что у вас есть земля, и что она нуждается в рабочих руках, которые обработали бы ее. Почему не потрудиться над нею? Дело только в том, пойдете ли вы за мной? Будете ли вы принадлежать мне навеки? Скажите „да“, и я ухвачусь за это предложение обеими руками...» Затем он говорит о необходимости восстановить свое здоровье и душевное спокойствие, что возможно только при деревенской жизни; в этом он видит наилучший исход и для себя, и для нее; невозможно уповать только на литературу, ожидая от нее достаточных средств к существованию. «Литература – вино жизни, а не пища, и она не может быть пищей. Что делает из женщины „синий чулок“, а из писателя – журнального наемника? Они пренебрегают семейными и социальными обязанностями и не испытывают ни семейных, ни социальных радостей. Жизнь для них – уже не зеленеющее поле, а *hortus siccus*.^[4] Они проводят свое существование на шумных улицах, в горячечном возбуждении... Увы, будьте человеком, прежде чем сделаться писателем... Вы также несчастны, и я вижу почему. У вас глубокая душа, сильный и серьезный ум; но он не имеет никакого серьезного приложения.

Вы презираете мелочность и ничтожество окружающей вас жизни и смеетесь над нею... О, если бы мне довелось видеть вас хозяйкой дома, расточающей среди любящих вас свои прекрасные способности к порядку, здравому суждению, ко всему изящному – способности, растрачиваемые теперь вами на рисование и т. п... Все это есть в вас. У вас есть сердце и ум, могущие сделать из вас образцовую жену, хотя до сих пор ваши мысли и ваша жизнь были далеки от этого высочайшего назначения всякой благородной женщины. Я также скитаюсь вдали от истинной жизни. Возвратимся же теперь, возвратимся вместе. Научимся один у другого, что значит жить. Приведем в порядок наши мысли и наши чувства и в сиянии спокойной природы взрастим цветы и плоды нашего духа, чтобы собрать и потребить их вовремя. Что такое гений, как не полное совершенство истинного мужества? как не чистое единение с самим собою духа, исполняющего все обычные обязанности с более чем обычным совершенством и открывающего в разнообразных явлениях жизни, в соприкосновении с которыми он приходит, прекрасное, присущее в большей или меньшей степени всем этим явлениям? Роза, в пору своего благоухающего расцвета, составляет красу садов; но должна быть почва, и стебель, и листья, иначе не будет и розы. И вы, и я одарены разнообразными способностями; но первым делом мы должны позаботиться о том, чтобы упорядочить свою жизнь; если сверх этого останется еще какой-либо плюс, могущий послужить для высших целей, он не замедлит сам обнаружиться. Если же его не окажется, то лучше и не пытаться никогда обнаруживать его...» Затем Карлейль указывает на простоту своих потребностей и говорит, что и она также не питает, конечно, никакого расположения к балам, фестивалям и так далее. Что в этом тщеславии? Что хорошего быть рабами его? «Если мы любим друг друга, если мы неуклонно и преданно исполняем свои обязанности, трудимся... то разве мы не делаем всего, что следует?.. Я взял себе в руководство следующие два правила: во-первых, я должен восстановить свое здоровье... и во-вторых, я никогда не позволю себе обратиться в жалкое существо, именующее себя в наших центрах писателем и пишущее ради барышей в ежедневных периодических изданиях. Благодарение небесам, существуют еще и другие пути зарабатывать себе средства к существованию... Вопреки моей судьбе, которая преследует меня так долго, я буду человеком. Но от вас зависит, буду ли я *настоящим* человеком или же только суровым и терпеливым стойком. Что скажете вы? Решайте за себя и за меня. Соглашайтесь, если вы не боитесь довериться мне, и мы соединимся на жизнь и смерть. Но не стесняйтесь и отвергнуть меня, если

таково будет ваше окончательное решение. Конечно, вырвать из своего сердца надежду, которая в эти годы служила мне утешением, крайне больно и мучительно, но лучше вынести эту муку со всеми последствиями, чем быть причиной и свидетелем вашего несчастья. Скажу вам откровенно, когда я слушаю, как вы рассказываете о своих веселых кузинах и противопоставляете их блестящую внешность своей жалкой будущности, а также своим будущим простым, но для меня самым дорогим и уважаемым родным (я был бы презреннейшим псом, если бы перестал их любить и уважать за их нежную любовь и за их исполненный неподдельного достоинства характер), когда я думаю обо всем этом, то почти готов посоветовать вам отвергнуть меня совершенно и соединить свою жизнь с одним из тех, чье положение и чей круг друзей более подходят к вашему собственному. Но затем, в порыве самолюбия, я тотчас же гордо говорю себе: нет, во мне есть душа, достойная этой девушки, которая будет достойна ее. Я буду ей наставником, руководителем, я сделаю ее счастливой... и мы вместе разделим радости и горести существования... Скажите же вы... Подумайте хорошенько обо мне, о себе, о наших обстоятельствах и решайте...»

Она отвечала:

«...Я люблю вас и я была бы неблагодарнейшее и неблагоразумнейшее существо, если бы я не любила. Но я не *влюблена* в вас, то есть моя любовь к вам не есть страсть, которая отуманивала бы рассудок и, поглощая меня всецело, заставляла бы забыть о себе и других. Нет, это простая, честная, спокойная любовь, возникшая из удивления и симпатии, и, быть может, на такой любви можно лучше устроить семейное счастье, чем на всякой иной. Но подобное чувство лишает меня возможности смотреть сквозь ложные „розовые очки“ на ваши проекты, и я гляжу на вещи так, как они есть, принимая все аргументы за и против... Я не желаю богатства больше, чем сколько нужно для удовлетворения моих потребностей, естественных и искусственных, ставших столь же существенными, как и первые. Я не выйду замуж, если придется примириться с меньшим, так как всякое лишение в подобном случае вызывало бы во мне мысль о том, что я оставила, а в добровольном союзе не должно быть места жертвам... Я считаю также обязанностью всякого человека по отношению к обществу не покидать того положения, какое Провидение предназначило для него.

А теперь позвольте мне спросить вас, располагаете ли вы *верными* средствами, чтобы создать мне такую обстановку, в какой я привыкла жить? Занимаете ли вы *определенное* место в том слое общества, в котором я родилась и выросла? Нет».

Затем она смеется над его мыслью снять в аренду Крэгенпутток. «Подумайте о чем-либо другом, – продолжает Джейн Уэлш, – приложите свой труд, свои дарования к другому делу, чтобы уравновесить таким образом неравенство нашего происхождения, и тогда будем толковать о браке.; Во всяком случае, – говорит она в конце письма, – я не выйду замуж ни за кого другого. Это все, что я могу обещать вам... Может быть, мне следовало бы не принимать никакого условного решения, а сразу отвергнуть вашу руку, и я, конечно, так бы и поступила, если бы вы походили на других людей или если бы я могла думать о собственном счастье независимо от вашей любви».

Ответ был, как видим, достаточно резок и мог бы легко задеть самолюбие, если бы для Карлейля в этом жизненном вопросе не была дороже всего искренность.

«Первым делом, – отвечает он ей, – я должен сердечно поблагодарить вас за вашу искренность... Ваш решительный ответ не оскорбил меня; напротив, я одобряю его. Горе было бы нам обоим, если бы мы не в состоянии были поступать решительно... Здравый смысл и искренность внушили вам это письмо; так, но из него я усматриваю, что вы имеете недостаточно правильное представление о моих целях и моем положении в настоящую пору... В течение многих месяцев внутренний голос, точно труба архангела, твердит мне: Человек! ты идешь по пути к гибели; ты проводишь дни и ночи в мучениях; твое сердце разрывается в горестях. Твоя жизнь хуже, чем жизнь пса, спящего у порога дома. Воспрянь, несчастный смертный! Воспрянь и устрой свою судьбу, если можешь! Воспрянь во имя Бога, пославшего тебя сюда не для того, чтобы ты, тая в своей неповинной груди огонь преисподней, скитался взад и вперед, бесполезно страдал, сохраняя молчание, и умер, не узнавши даже, что значит жить!.. Далее, обдумывая свое хаотическое положение, я повсюду находил свою любовь к вам тесно переплетенной со всей моей жизнью, соединенной со всем, что есть самого святого в моих чувствах и самого важного в моих обязанностях... Под влиянием этих-то мыслей я предложил вам поселиться на ферме... Если бы вы приняли мое предложение, то я вовсе еще не думал бы, что битва уже выиграна... Вы отвергли его и, я нахожу, поступили благоразумно: при ваших настоящих взглядах и стремлениях мы оба были бы вдвойне несчастны, если бы вы поступили иначе... Ваше счастье вовсе не связано неразрывно с моим... Вы вправе, конечно, думать о развлечениях и удовольствиях; для меня же величайшее благо, о котором я мечтаю, – покой. Вам необходимо обращать внимание на то, что станут говорить другие, и искать их одобрения; мне же

сравнительно мало дела до людских порицаний, и я оставляю без внимания пренебрежительное отношение окружающих!» Что касается жертвы, то без значительных жертв с обеих сторон их союз представляется Карлейлю пустой мечтой, и в их случае, говорит он, приходится сообразовываться лишь с тем, как далеко могут идти эти жертвы, не нарушая человеческого достоинства. «Я нахожу, – замечает он, – что союз с таким человеком, как вы, искупает всякую жертву, исключая отступничество от тех принципов, благодаря которым я и заслужил ваше расположение...»

О каком же самопожертвовании говорит здесь Карлейль? Относительно Джейн Уэлш все ясно: беззаботное порхание от удовольствия к удовольствию состоятельного человека она должна была променять на трудовую жизнь в качестве жены упрямого философа-моралиста, который, кроме гения, не признанного к тому же еще людьми, не имел ничего и который упорно отказывался обменивать свой гений на людские гиней. А в чем же заключалось самопожертвование с его стороны? Глядя на дело с узкой точки зрения их взаимных отношений, мы, пожалуй, не найдем никакого самопожертвования. Но подымитесь в несколько более возвышенную сферу. Карлейль готовился посвятить всю свою жизнь служению безусловной и нелицемерной истине, и этому служению он действительно принес в жертву всякие стремления к житейскому благополучию. Если жизнь, предстоявшая мисс Уэлш в союзе с Карлейлем, не сулила ей особенных радостей, то ведь и сам Карлейль отказался от них, решившись идти к истине тернистым путем независимости и лишений.

Переписка эта не привела, однако, к благополучному решению вопроса. Каждый из них остался при своем. Карлейль думал о деревенской глуши и работе вдали от растлевающего влияния литературного рынка, а мисс Уэлш сохраняла выжидательное положение.

Родные помогли Карлейлю осуществить его намерение; они сняли для него по соседству с собой небольшую ферму Ходом-Хилл, где он и поселился вместе с братом Александром. Мать с одной из дочерей также проводила большую часть времени здесь, занимаясь хозяйством. Карлейль не ошибся в своих расчетах: уединенная, спокойная жизнь была именно то, в чем нуждалась его измученная долгими сомнениями душа. Вот что он говорит по этому поводу в своих «Воспоминаниях»: «Там я убедился, что одолел свой скептицизм, свои смертельные сомнения, что вышел победителем из страшной борьбы с гнусными, презренными, душегубительными болотными богами нашей эпохи; что я спасся от чего-то похуже, чем преисподняя со всеми ее Флегетонами и Стигийскими тряпинами, и я свободно поднялся в бесконечную синеву эфира, где,

благодарение небесам, с тех пор постоянно и пребывал, насколько дело касалось моего духа. Как велика была тогда моя благодарность, легко может представить себе всякая благочестивая душа. Бедный, неизвестный, почти без всяких мирских надежд, я стал в истинном и лучшем смысле человеком независимым от людского мира. Что такое после этого была для меня сама смерть, прекращение существования в этом мире? Я хорошо уразумел тогда, что понимали древние христиане под обращением... Я действительно одержал громадную победу и в продолжение целого ряда лет, несмотря на нервы и огорчения, пользовался непрекращающимся внутренним счастьем, истинно величественным счастьем, перед которым всякое земное злополучие кажется ничтожным и преходящим...»

Как изменилось его сумрачное, угрюмое настроение, показывают, между прочим, следующие слова в письме к мисс Уэлш: «Иногда нечто в образе совести нашептывает мне: „Не следует ли вам, мистер Томас, обратить внимание, что время уходит, что вам уже под тридцать, а вы все еще бедны, невежественны, неизвестны? Что же станет с вами впоследствии, мистер Томас? Не находите ли вы справедливым, хотя отчасти, что вы – осел? Вы остаетесь вне жизни. Вы стоите совершенно вне борьбы, мой милый сэр; без всякого движения, без знания, денег, славы!“ А я отвечаю ему, этому голосу: „Ну так что за беда? Что сделали для меня до сих пор знание, деньги, слава? Время, вы говорите, уходит. Пусть уходит; пусть оно бежит даже в два раза быстрее, если ему угодно“...» «Когда силы возвратятся, – замечает дальше Карлейль, – битва снова начнется...»

Трудно сказать, как долго длились бы эти неопределенные отношения между героями нашего романа, если бы в дело не вмешался случай в образе одной услужливой общей знакомой, которая написала Карлейлю, что Ирвинг любил мисс Уэлш и пользовался ее полным расположением и что, если бы не печальная судьба последнего, она вышла бы замуж за него. Карлейль отослал письмо девушке, а той не оставалось ничего иного, как признаться откровенно, тем более что она чувствовала себя виноватой перед ним: она не только скрыла от него свои чувства к Ирвингу, но и говорила ему, что ничего подобного никогда не было. Раньше она обвиняла Карлейля в эгоизме, а теперь ей пришлось несколько изменить тон своих писем и обвинить самое себя во лжи. В Карлейле весь этот эпизод лишь снова пробудил мысли о том, что он не достоин ее, что ей будет слишком тяжело жить с ним, что он не может создать для нее подходящей обстановки и так далее. В результате обмена мыслями и взаимными предложениями взять свое обещание назад явилась решимость со стороны

мисс Уэлш: она объявила, что посетит семью Карлейля в качестве его невесты и посмотрит, как он устроился. Свадьба была решена окончательно; но тут представилось новое затруднение. Карлейлю пришлось оставить свою ферму из-за раздоров с владельцем. Отец его снял новую ферму, Скотсбриг, и перед Томасом снова встал вопрос, как устроить свою жизнь. Мать Джейн Уэлш не сочувствовала браку ее с Карлейлем, считала его *mesalliance*'ом, но не могла убедить дочь отказаться; чтобы не расставаться с нею, она предложила ей поселиться со своим будущим мужем у нее, в Крэгенпуттоке. Читатель не забыл, что раньше Карлейль сам не прочь был жить там; но он хотел взять в аренду Крэгенпутток, а теперь ему предлагали просто поселиться у тещи. Он не согласился и решительно заявил, что желает иметь свой собственный дом, в котором он мог бы «захлопывать дверь перед носом назойливых посетителей», и что в доме головой должен быть мужчина, а не женщина. Он знал, что мать его невесты относится к нему далеко не сочувственно и, понятно, не хотел жить под ее кровлей. Снова длинная переписка, обвинения в эгоизме, предложения взять назад обещание. Наконец дело кончилось тем, что они решили поселиться в Эдинбурге, на окраине города.

Таким образом, Карлейль женился на 31-м году и прожил со своей женой целых сорок лет. Это была жизнь, полная неустанного труда и мучительного, требовавшего напряжения всех душевных сил творчества. Мы знаем, что новобрачные не располагали никаким имуществом. Все зависело от заработков Карлейля, а они в продолжение долгого времени были скудны. Девушке, воспитанной в холе и сравнительной роскоши, пришлось испытать теперь, что такое нужда. Она мужественно выдержала это испытание. Мало того, несмотря на недостаток средств, она создала для Карлейля обстановку, в которой он мог спокойно трудиться. Она взяла на себя все заботы по домашнему хозяйству и, случалось, сама исполняла черную работу прислуги. Сколько томительных годов сурового одиночества в пустынных болотах Шотландии, где на много верст вокруг не было жилья, пришлось провести этой благородной женщине! Я говорю – одиночества; она была, конечно, с Карлейлем; но можно сказать, что она была одна. Карлейль всецело уходил в свою работу: он не выносил присутствия постороннего человека в своем рабочем кабинете; даже свои прогулки верхом он предпочитал совершать один, дабы никто не прерывал его размышлений. Она надеялась разделить с ним умственный труд, но это оказалось несбыточной мечтой. Она посвятила себя заботам о житейских мелочах, без которых разве один только Диоген мог жить в своей бочке; а он, ради кого все это делалось, как бы не замечал, принимая как должное,

ее труд. Ведь его мать (а он ее любил больше всего на свете), его сестры – все они работают всякие черные домашние работы, и никто в этом не находит ничего удивительного. Все это в порядке вещей, и Карлейль был глух к страданиям женщины, воспитанной для другой жизни, страданиям, впрочем, тщательно скрываемым. И вот после сорока лет жизни с ним, сорока лет, как говорит Фроуд, блестящего труда, в течение которых его поведение было чисто как снег, когда Европа и Америка признали наконец его заслуги и с удивлением читали его, в это время она на основании личного печального опыта дает такое наставление своей юной подруге: «Дорогая моя, что бы ни было, не выходите никогда замуж за гениального человека...» – и откровенно признается, что Карлейль превзошел все ее самые необузданные мечтания, но что она все-таки несчастна... Да, нелегка бывает жизнь с такими гениями, как Карлейль. Не следует, однако, думать, что Карлейль был на самом деле человеком жестоким, что ему совершенно недоставало приветливости и сердечной мягкости. Припомните слова девушки, к которой он почувствовал первую симпатию. В сердце Карлейля таилась истинная доброта; но нужно было уметь вызвать ее, высвободить из пут сурового и неприступного пуританизма; нужно было смягчить это непомерно серьезное отношение к жизни, и тогда... тогда бедная Джейн Уэлш увидела бы своего Томаса таким, каким видела его в обществе леди Ашбертон. Но самой Джейн, к несчастью, недоставало живой, подвижной, веселой нежности и доброты; она была способна на всякое самопожертвование, но она также слишком серьезно относилась к людям и вещам.

«Во всей ее переписке, – говорит Гарнетт, – едва ли можно найти малейшее указание на стремление высвободить любящую душу Карлейля из-под ее черствой оболочки; напротив, она постоянно стремится сузить его симпатии, обострить его сарказмы, усилить отрицания, дать пищу его презрительному отношению ко всему, что лежало вне сферы его собственных симпатий». Может быть, черствая оболочка распалась бы, как шелуха, если бы у Карлейля были дети, но их не было, и глубоко любящее сердце Томаса оставалось всю жизнь точно в темнице сурового пуританизма. Только однажды в жизни он почувствовал себя как бы свободным, и это освобождение принесла вышеупомянутая леди Ашбертон. Понятно, с каким восторгом он встретил ее и как высоко ценил ее дружбу. Свою Джейн он ставил выше всех женщин (кроме матери), но леди Ашбертон составляла тут исключение. Конечно, дружба их имела совершенно невинный характер, но Джейн страдала, и только смерть леди положила конец «недоразумениям», которые, несмотря на самые горячие

уверения Карлейля, могли привести к печальным последствиям.

Я упомянул об этом эпизоде, нарушив хронологический порядок событий, чтоб не прерывать дальнейшего изложения фактами из семейной жизни Карлейля. Мы знаем общий характер этой жизни; она оставалась неизменной все время, и потому мы не станем к ней возвращаться больше. Главный интерес для нас будут представлять теперь сами произведения Карлейля и его усилия сохранить свою независимость. В этом отношении жена его была верным и неизменным спутником и товарищем. Выйдя замуж, она решила, что он никогда не будет писать ради денег, а только по внутреннему влечению, и что на средства, которые он будет таким образом зарабатывать, она должна устроить их семейное гнездо. И она блистательно выполнила свою задачу.

Глава V. В пустыне

«Эдинбургское обозрение». – Биографические очерки: Вольтер, Бёрнс. – «Признаки времени». – Выдержки из дневника. – «История немецкой литературы». – Материальные затруднения. – «Sartor Resartus». – Лондон. – Дж. Ст. Милль. – «Характеристики». – Смерть отца. – Снова подвижничество в пустыне. – «Дидро». – «Калиостро». – Эмерсон. – Новые неудачи. – В Лондон!

У Карлейля было всего две тысячи рублей, когда он поселился с женою в Эдинбурге. Нужно было подумать о средствах к существованию. Он делает разные предложения лондонским издателям, переговаривает также с эдинбургскими, задумывает наконец написать оригинальную повесть. Но из всего этого ничего не выходит. На английском книжном рынке в ту пору не было почти никакого спроса на немецких писателей, а Карлейль именно их и предлагал. Под влиянием неудач он снова начинает думать о Крэгенпуттоке, ферме и жизни в глуши. Джейн страшит уединенная жизнь в пустыне, среди печальных болот. Он колеблется. К счастью, ему подвернулось под руку рекомендательное письмо к Джеффрию, знаменитому эдинбургскому адвокату и редактору «Эдинбургского обозрения». Он отправляется к нему, знакомится. Джеффрий – один из либеральнейших вигов своего времени, последователь бентамовской теории нравственности и так далее. Понятно, что между ним и Карлейлем было слишком мало общего. Однако умный адвокат принял любезно «до смерти серьезного» пуританина и предложил ему сотрудничать в журнале. Вскоре он убедился, что имеет дело во всяком случае с необыкновенным человеком, а знакомство с Джейн, которая к тому же приходилась ему какой-то отдаленной родственницей, положило начало прочным дружеским отношениям между ними. Впрочем, Джеффрий в качестве редактора позволял себе довольно свободное обращение с рукописями Карлейля и не только исправлял слог, но и производил настоящие вивисекции. Карлейль не мог примириться с этим, и либеральный редактор должен был уступить. «Пишите для меня, – говорит он в одном из своих писем, – и свои мистицизмы, если иначе невозможно; я буду печатать их, позволяя себе делать лишь немногие незначительные поправки». Это столкновение относится, однако, к тому времени, когда Карлейль уже покинул Эдинбург. Прежде чем удалиться в пустыню, он пытался занять одну из кафедр философии во вновь открывшемся

Лондонском университете, а затем кафедру нравственной философии в университете св. Андрея, но, несмотря на рекомендации Джеффри, Ирвинга, Буллера и даже самого Гёте, был отвергнут: не «своего поля ягода», он вовсе не подходил под шаблоны, установленные для профессорского звания.

В Крэггенпуттоке началась сосредоточенная уединенная работа. Брат Александр занялся фермой, Джейн вела домашнее хозяйство, а Томас отдался своим мыслям. Он продолжал еще писать для «Эдинбургского обозрения» свои замечательные биографические очерки, из которых особенными достоинствами отличаются характеристики Бёрнса и Вольтера. Если в жизни первого было много общего с жизнью самого Карлейля, то второй, по-видимому, представлял полную его противоположность. Гений в образе «архипересмешника» – да, казалось, едва ли возможно найти что-либо менее привлекательное для глубоко религиозного ума Карлейля. И, однако, он сумел оценить Вольтера. «Внешняя обстановка жизни Вольтера, – говорит Гарнетт, – его личные отношения к тем или другим людям могут представлять еще предмет дальнейших более или менее успешных исследований; Вольтер как писатель может еще найти себе более обстоятельную оценку; но Вольтер как человек едва ли будет когда-либо лучше обрисован...» Он смотрит на Вольтера как на представителя своего времени, который должен был предать пламени накопившиеся веками «неправды», чтобы из пепла могла возникнуть новая, здоровая растительность. Для него Вольтер вовсе не апостол, облеченный божественной миссией возвестить положительную истину, воодушевленный возвышенным благородным негодованием; нет, он был просто живым орудием разрушения, совершавшим свое дело с насмешливой улыбкой и подготовившим страшное пожарище...

Статья о Бёрнсе, чуть было не погибшая от жестокого вмешательства Джеффри, вызвала самые горячие похвалы со стороны Гёте, который перевел из нее многие страницы самолично. В это же время Карлейль написал и свою первую статью более общего характера под заглавием «Признаки времени». Здесь он впервые открыто выступает поборником духовного начала против господствовавшего механистического мировоззрения и нападает на «суеверия» своего века: на веру в фразу, в формулу, во внешние учреждения и установления, которым не соответствует уже никакое внутреннее содержание, и так далее. Это была действительно дерзкая вылазка против так называемой «философии прогресса», проповедуемой неукоснительно со страниц «Эдинбургского обозрения». Статья вызвала, между прочим, несколько сочувственных

писем со стороны сенсимонистов, выразивших надежду увидеть ее автора в своих рядах. Джеффри поместил и эту статью, но такая «дерзость» не могла сойти безнаказанно для Карлейля. Случилось, что как раз в это время Джеффри оставлял редакторство; Карлейль мог бы занять его место, если бы он не заявлял с таким упрямством и так открыто своих сектаторских взглядов, которые были и непонятны, и неприятны для либеральной партии. В кружке либералов, руководивших «Эдинбургским обозрением», признавали его необычайный талант, но требовали, первым делом, безусловного исповедания своего культа, а Карлейль имел собственную веру и намерен был во что бы то ни стало следовать ей. Редакторство только издали улыбнулось ему; положение же его как сотрудника лишь ухудшилось, так как новый редактор не соглашался печатать статей, идущих вразрез с направлением журнала. Приходилось останавливаться на более безобидных темах. Затем он сотрудничал в «Иностранном обозрении» и готовился выступить в журнале Фрэзера. Приведем несколько выдержек из дневника Карлейля, относящихся к этому времени: они проливают свет на его внутреннюю жизнь и указывают направление, в котором работала его мысль.

«Политика не есть жизнь (которую составляет простое добро и размышление о нем), а лишь дом, внутри которого протекает жизнь. И печальна эта обязанность, лежащая на каждом из нас, *подмазывать* и вечно ремонтировать свое жилье, но она становится печальнейшей из всех, когда превращается в единственную обязанность».

«Учреждения, законы всякого рода могут превратиться с течением времени в *опустелые* здания: одни только стены торчат, а жизни внутри уже нет, – разве только летучие мыши, совы да всякие нечистые животные населяют их. В таком случае их следует снести, раз они мешают дальнейшему движению...»

«Вся философия (!) политикоэкономов представляет собой одну только арифметическую выкладку над пустыми словами... Если бы политэкономы сказали нам, как богатство распределяется и как оно должно распределяться, это было бы другое дело; но они даже не пытаются... Политическая философия!.. Политическая философия должна быть научным откровением, раскрывающим перед нами таинственный механизм, благодаря которому между людьми поддерживается общность и единение; она должна сказать нам, что следует разуметь под словом „отечество“, при каких условиях люди бывают счастливы, нравственны, религиозны и при каких – нет. Вместо же всего этого она рассказывает, как „фланелевая куртка“ обменивается на „свиной окорок“, и особенно

распространяется „о землях, подвергающихся культуре позже других“...»

Таким образом, в самый разгар господства «классической» политической экономии Карлейль вполне ясно сознавал необходимость *этического* начала, к чему ученые политикоэкономы, и то далеко еще не единодушно, пришли лишь в наше время.

«Чудо? Что такое чудо? Может ли быть один предмет более чудесным, чем другой? Я сам ходячее чудо...»

«Люблю ли я на самом деле поэзию? Иногда мне думается: почти нет. Напыщенная болтовня опьяненных людей, в которых одна только чувственность, хотя бы и неподдельная, кажется мне невыразимо утомительной. Я нахожу величайшее наслаждение в чтении таких поэтов-мыслителей, как, например, Гёте: они в музыкальных образах *поучают*...»

«Дилетантизм – вот величайший грех нашего времени; виги и умеренные тори – все великие дилетанты. Я начинаю все менее и менее терпимо относиться к ним. Никакое общество невозможно там, где человек посматривает на труд, расправляя свои бакенбарды, и притрагивается к нему кончиком пальца в перчатке. Большого можно ожидать от атеиста-утилитариста, от суеверного ультратори, чем от подобного высохшего, тепловатенького ублюдка».

Раздумывая о парламенте и новых реформах, он пишет:

«Весь общественный строй прогнил и годится только на топливо; но где же тот новый строй, который должен заменить его? Я не знаю, и никто не знает».

Под влиянием таких мыслей он написал эскиз под заглавием «Тейфельсдрек», переработанный впоследствии в целую книгу «Sartor Resartus». Статья эта побывала в руках редакторов разных журналов, но повсюду вызвала одно только недоумение и возвратилась обратно к автору. Такая же судьба постигла и его «*Историю немецкой литературы*», книгу, на которую он возлагал большие надежды; издатели положительно отказывались печатать что бы то ни было относительно немецких писателей, так как подобные издания, за отсутствием спроса, приносили им чистые убытки. Тогда Карлейль задумал собрать свои журнальные статьи (главным образом характеристики и биографические очерки) и издать их отдельной книгой. Но и тут не нашлось охочего издателя, хотя теперь эти сочинения расходятся в десятках тысячах экземпляров. Таким образом, Карлейлю ничего не оставалось, как сидеть по-прежнему в своем пустынном Крэгенпуттоке, работать и ожидать лучших времен. Недомогание жены и в особенности смерть любимой сестры Маргариты были для него новыми ударами. Затем затея с хозяйством, на которое он

смотрел как на существенную материальную поддержку, также окончилась неудачно: брат его Александр бросил Крэгенпутток и снял другую ферму. В то же время приходилось еще помогать брату Джону, только что окончившему университет медику, проживавшему без места в Лондоне. Наконец дело дошло до того, что на все расходы осталось лишь двенадцать пенсов, – и никаких определенных надежд впереди...

Джеффрей знал о материальных невзгодах пустынников; ему в особенности жаль было молодую, изящную женщину, и он деликатно предложил Карлейлю ежегодную пенсию в одну тысячу рублей из своих средств. Тот, конечно, отказался: он был слишком горд, чтобы принять подобное предложение от постороннего для него человека. Бедность так бедность, но независимость прежде всего!.. «Если бы я имел, – пишет он брату Джону, – достаточно денег, чтобы поехать по свету и поискать добрых людей и со товарищей, с которыми приятно было бы поддерживать работу, я чувствовал бы себя счастливее; но я в Крэгенпуттоке, и должен во всяком случае делать свое дело. Кто знает, однако, может быть мое заключение в этих топях, как бы оно ни казалось печально, послужит в действительности лишь к моему благу? Если у меня есть настоящее дарование, то это так; а если нет – то что в том, плаваю ли я на поверхности или погружаюсь вглубь?..» И Карлейль несомненно чувствовал в себе такую силу; но она развивалась своим, оригинальным путем; его мысли и его писания были совершенно чужды установившимся шаблонам, в них не было ничего такого, что обещало бы ему скорую популярность. А между тем он говорил тоном крайне авторитетным и имел, собственно, полное право так говорить; но за ним не признавали пока этого права, и ему как человеку, решившемуся идти своим путем, нужно было еще завоевать его в глазах общества.

Случилось то, что обыкновенно случается с великими оригинальными людьми: при первом появлении на них смотрят с удивлением, затем они вызывают раздражение, далее злобу и так до тех пор, пока эти упорные пионеры не превратят маленькую тропинку, по которой они впервые пошли самостоятельно, в большую проезжую дорогу.

Окруженный печальными болотами, лишенный всякого общения, удрученный нравственными и материальными невзгодами, Карлейль упорно работал над своим оригинальнейшим произведением. Его уже давно занимали основные вопросы человеческого существования. Но ему долго не давалась форма; наконец он нашел ее. Это будет «философия одежды». Обычай, нравы, учреждения, религиозные верования – что все это, как не одежды разного рода, которыми человечество прикрывает свою

природную наготу и которые делают людей способными жить в обществе и мире? Одежды изменяются с течением времени; они изнашиваются, выходят из моды, – появляются новые потребности, возникают новые моды. Одежда служит внешним выражением внутренней, духовной жизни. Эта аналогия открывала широкое поле для глубокомысленнейших рассуждений и остроумной критики существующего. Уже Свифт построил на ней свою «Сказку о бочке». Но Карлейль еще плодотворнее воспользовался ею. В его работе рядом с Гётевской глубиной положительного понимания чувствуется почти свифтовское негодование, переходящее в беспощадную сатиру. Рамки были найдены. Обширные познания и по преимуществу личная внутренняя и внешняя жизнь дали задуманному труду надлежащее содержание. Действительно, в «Sartor Resartus» (мы говорим именно о нем) вырвались бурным и могучим потоком чувства, которые Карлейль долго таил в себе и которых он не в состоянии уже был больше сдерживать. Глубокое недовольство, породившее французские революции, бристолюбское возмущение, социализм и так далее, наполняло также и сердце Карлейля; разница только та, что он обратился от временного и внешнего к вечному и внутреннему.

В качестве друга и поклонника немецкого философа Диогена Тейфельсдрекка Карлейль знакомит читателя с его сочинением. «Одежда, ее происхождение и видоизменения». Весь мир, вся история человечества представляются как ряд призраков, теней, внешних преходящих одеяний; затем – внутренняя история борьбы, стремлений к свету, поражений, побед. Цепь поразительных контрастов, глубокомысленнейшая философия рядом с самой злой сатирой. «Вы сбиты с толку, – говорит Тэн, – с самого начала. У него все – свое: идеи, направление, слог, построение фраз, даже самое употребление слов. Наконец вы убеждаетесь, что перед вами необыкновенное существо, остаток погибшего племени, род мастодонта, потерявшегося в мире, созданном вовсе не для него...»

«Все видимые предметы, – говорит Карлейль, – суть эмблемы; то, что ты видишь, не есть такое само по себе; строго говоря, оно даже вовсе не существует: материя существует только спиритуалистически и лишь для того, чтобы представить какую-либо идею, воплотить ее. С другой стороны, все эмблематические предметы – суть одеяния, сотканые мыслью или рукой. Все, что осязательно существует, все, в чем дух представляется духу, есть, собственно, одежда, платье, которое надевают на время и затем сбрасывают прочь. Таким образом, этот всеобъемлющий вопрос о платье, надлежащим образом рассматриваемый, заключает в себе все, о чем человечество думало и мечтало, что оно делало; весь внешний

мир и все, что он содержит, есть только одеяние; и суть всего знания заключается, следовательно, в „философии одеяния“». Время и пространство он также считает «двумя великими призраками».

В «Sartor Resartus» Карлейль мыслит как идеалист, а чувствует как реалист. Вообще это соединение реализма с идеализмом для него весьма характерно. Земля и весь материальный механический мир, по его мнению, не перестанут существовать, если даже все живое (за исключением единого Высшего Существа) исчезнет; все явления внешнего мира для него не иллюзии, а фантомы или, скорее, тени, бросаемые бесконечной реальностью. Дидактическая часть книги посвящена пылкой защите существования этой единой реальности в виде Божественного Разума и доказательству, что все остальное имеет характер феноменов. А во второй части он применяет этот принцип к человеческим учреждениям и верованиям, рассматриваемым как одеяния.

Сам автор находил, что его книга – нечто вроде асафетиды для привыкших к пудингам желудков англичан и должна вызвать новые выделения. Джейн считала «Sartor» гениальным произведением. С таким напутствием Карлейль на занятые у Джеффрея 500 рублей отправился в Лондон искать издателя.

Он полагал, что с Крэггенпуттоком пора прощаться: жить в этих пустых болотах, когда ферма рухнула, а журнальные статьи не обеспечивали существования и могли привести даже к «умственной проституции», он считал бессмыслием. В портфеле у него имелись неопубликованные еще части «Истории немецкой литературы» и «Sartor Resartus». С ними Карлейль намеревался выступить, чтобы завоевать себе положение в Лондоне. Но, увы, «гениальное произведение» далеко не всегда оказывается преуспевающим произведением. Хорошо еще, если на первых порах его встречают только с недоумением. Чаще всего толпа обрушивается на него с насмешками и злобой. Гений идет своим путем, а «общество», «все» идут обыкновенно своим безошибочным путем «умеренности и аккуратности», и только после настойчивого и упорного труда, создав вкус, способный оценить его, гений завоевывает общественные симпатии. Английское общество вовсе не было расположено выслушивать речи какого-то «мистического» проповедника, «брeдни» восставшего из гроба пуританина и т. д. Злополучная рукопись («Sartor Resartus») побывала в руках нескольких издателей и, несмотря на содействие Джеффрея и других знакомых, потерпела полное фиаско. Один издатель откровенно говорил, что если Карлейль ему заплатит 1500 рублей, то он согласен издать его произведение; другой решил было напечатать с

условием, что он не платит Карлейлю ничего и по распродаже первых 450 экземпляров издание поступает в полную собственность автора, но, узнав об отношении других издателей, отказался и от такой сделки. Таким образом, рукопись после долгих скитаний возвратилась назад. Надежды были разбиты, и обидно разбиты, но Карлейль не унывал. Чем больше он присматривался к лондонской жизни, тем больше росла в нем уверенность, что в свое время «Sartor» будет признан и оценен. А пока нужно было решаться на что-нибудь. Как он ни был поглощен своими мыслями и работой, все-таки не мог не заметить, что уединенная жизнь в Крэгенпуттоке отзывается крайне тяжело на его жене, что для нее такая жизнь – своего рода тюрьма. «Я больше и больше убеждаюсь, – пишет он ей, – что мы должны провести эту зиму здесь (в Лондоне). Скажи, Джейн, разве это не было бы приятно для *тебя*? Скажи откровенно; да я и так уже знаю, что было бы приятно, но ты, как приличествует доброй жене, подчиняешь свои желания общему делу». Как же, однако, прожить в Лондоне, где взять средства? Положим, они могут устроиться очень дешево; они могут поселиться в тех же двух комнатах, в которых он живет теперь с братом (последний уезжал в Рим в качестве врача при больной), и это, при умелом хозяйстве его Джейн, будет стоить им всего 20—30 рублей в неделю. Но все-таки нужны деньги; нужна работа. Он предложил «Эдинбургскому обозрению» написать статью о Лютере; там отказали, но назвали другую тему.

Решено было прожить зиму в Лондоне. Джейн приехала немедленно. В это время у Карлейля составилась уже довольно обширный круг знакомых в литературном мире, главным образом среди молодежи. В числе его знакомых был и Дж. Ст. Миль, о котором ему рассказывали как об «обращенном утилитарианце». «Полный возвышенного и чистого энтузиазма юноша, – писал Карлейль о нем жене, – со временем он станет знаменитостью, но в нем, мне кажется, нет ничего поэтического; у него не особенно богатое воображение...» Между ними завязались довольно близкие отношения, не переходившие, однако, никогда в настоящую дружбу благодаря внешней резкости Карлейля; а впоследствии, когда нападки Карлейля на парламентаризм и либерализм, забывающий о «рабочем, умирающем голодной смертью», приняли крайне острый характер, знакомство их совсем прекратилось. Миль же в «Автобиографии» говорит между прочим следующее о своих отношениях к Карлейлю: «Необычайная сила, с которой он высказывал эти истины, произвела на меня глубокое впечатление, и я в продолжение долгого времени был одним из самых пламенных его поклонников... Однако я не

чувствовал себя компетентным судьей Карлейля. Я сознавал, что он поэт и созерцательный мыслитель, а я – нет, и что в качестве того и другого он видел не только ранее меня предметы, которые я лишь по чужому указанию мог определить опытным путем, но, вероятно, и еще многое другое, что для меня было невидимо даже при указании. Я чувствовал, что не могу вполне обнять его и не могу быть уверенным, что вижу далее его, а потому я никогда и не осмеливался судить его вполне». В эту пору их знакомства еще не до конца выяснилась решительная противоположность исходных точек зрения, на которых стояли два величайших ума современной Англии, та противоположность, благодаря которой такие вопросы, как религиозный скептицизм, утилитаризм, теория образования характера внешними обстоятельствами и обязанности человека, значение демократии, политической экономии, социологии, логики и т. д., получали совершенно различное освещение. Итак, около Карлейля собрался целый кружок блестящих молодых людей, с восторгом слушавших удивительного шотландца и ожидавших от него, как он сам говорит, поучений и наставлений.

«Sartor» провалился, но Карлейль упорно продолжает думать, что именно такого рода произведения необходимы для читателей.

«В чем заключается настоящий долг каждого человека? – читаем в его дневнике. – В том ли, чтобы стоять совершенно в стороне от общественных дел? Или, напротив, не составляет ли самой насущной потребности нынешнего времени именно бесконечная нужда в правителях, в знании, как управлять? Можешь ли ты в какой бы то ни было мере распространить среди людей чувства преданности и уважения? Вот задача неизмеримо более возвышенная, чем всякая иная». «Тщетна надежда, – замечает он дальше, – сделать человечество счастливым при помощи одних политических реформ. Реформируйте человека, реформируйте своего собственного внутреннего человека...» «Чтобы излечиться, человек первым делом должен поверить, что излечение возможно; должен поверить, что если он не может жить по истине, то он может умереть за истину...»

В конце зимы были написаны «Характеристики». Из всех произведений Карлейля они больше других напоминают злополучный «Sartor». Но на этот раз издатели оказались благосклоннее. «Характеристики» были немедленно приняты «Эдинбургским обозрением» без малейших изменений. «Я не понимаю этой статьи, – заметил редактор, – но на ней лежит печать гения...»

«Современные люди, – говорит Карлейль в „Характеристиках“, –

любят копаться в своих язвах, носиться со своими сомнениями и т. д., тогда как всякое великое дело делается обыкновенно молча, делается людьми, охваченными одной мыслью, одним чувством. Общество стонет, со всех сторон спешат к нему лекаря, каждый предлагает свое лекарство: кооперативные союзы, всеобщую подачу голосов, усовершенствованную постройку домов и хлевов, ограничение народонаселения, закрытую баллотировку... Общество одержимо многими внешними недугами; оно стонет не зря; но самый страшный внешний недуг составляет накопление богатства, с одной стороны, и накопление нищеты – с другой... На высоких престолах восседают владыки мира, подобные эпикурейским богам; а под ними колеблется бесконечный океан живой нищеты, невежества, голода... В прошлом было не лучше; но тогда была по крайней мере, вера... Теперь же вера иссякла... Старые идеалы отжили свое время, новые не народились, и человечество бродит ощупью... Небо мертво для него, земля глуха... Но сумерки предвещают зарю... Паровая машина прорывает не одни земляные горы... Общественные силы накапливаются. Пробить стены европейской „черной ямы“ уже не так трудно, тем более что они сделаны, в сущности, из бумаги и воздуха... Новая вера, победа творческого духа над вещественным миром, над лживыми условностями, над отжившими формулами освободят человечество из этой „черной ямы“...»

Милль, читавший «Характеристики» в рукописи, со слезами на глазах говорил Карлейлю: «Мир узнает когда-нибудь, какой глубокий смысл заключает в себе это произведение»; а статью о Джонсоне, написанную в это же время, Милль читал и перечитывал столько раз, что выучил ее почти всю, от слова до слова. Вообще «Характеристики» были встречены с восторгом кружком юных поклонников и с одобрительным удивлением – всей читающей публикой. Карлейль получил тотчас же целый ряд предложений из разных журналов. Мучительные сомнения относительно того, в состоянии ли он будет добывать средства к существованию литературным трудом, несколько рассеялись... Но журнальные статьи и очерки не удовлетворяли его; он не переставал мечтать о книге; он чувствовал, что на нем лежит обязанность высказать еще многое людям, и он решил снова удалиться в пустыню, чтобы здесь, в полном уединении, выработать окончательно свои мысли. Может быть, было слишком жестоко отрывать Джейн от жизни и обрекать ее снова на тоскливые годы полного одиночества, но Карлейль, всецело увлеченный своей работой, точно не замечал той скуки и лишений, которые терпела из-за него жена. Во время пребывания Карлейля в Лондоне умер его отец. Смерть эта произвела на него сильное впечатление. Он заперся у себя и не велел никого принимать.

Со всех сторон его обступили мысли об отце; он взял перо и стал писать свои трогательные, исполненные глубокой любви «Воспоминания», представляющие самый лучший памятник, какой только мог поставить такой сын такому отцу...

Карлейль удалился снова в Крэггенпутток и прожил там около двух лет. Читал он, можно сказать, запоем; без особых усилий он мог просиживать за книгами с девяти часов утра до десяти вечера с небольшими перерывами для еды и курения трубки. Но где доставать книги, когда на несколько миль вокруг не было человеческого жилья? «Книг совершенно нет, – жалуется он в своем журнале, – и почему это не существует в каждом провинциальном городе библиотек его королевского величества, тогда как тюрьма существует?.. Разве у тебя нет книги природы? – утешает он себя. – В ней всего одна страница; но, увы, здесь, в этой пустыне, это почти пустая страница; впрочем, не совсем так: читай ее внимательно...» Вопрос о «политике» смущает его и тут. «В чем заключаются мои обязанности в этом отношении? – спрашивает он себя в дневнике. – Я по-прежнему стою в стороне и постараюсь сохранить такое положение до тех пор, пока общий ход вещей не изменится совершенно. Борьба происходит не между радикалами и тори, а между верующими и неверующими... Радикал – человек верующий, хотя в грубом языческом смысле; но он, во всяком случае, единственный верующий в наше время...»

Благодаря случаю Карлейль получил доступ к одной частной библиотеке и перечел в ней все заслуживающее внимания. В эту пору его мысль останавливалась чаще всего на двух важнейших эпохах в истории европейских народов: на пуританизме и Ноксе в Англии и на Великой революции во Франции; то или другое должно было составить предмет его будущей книги. Милль, предполагавший сам написать историю французской революции, отказался от своей мысли в пользу Карлейля и прислал ему некоторые из имевшихся у него сочинений и материалов.

Между тем издатели, заискивавшие перед Карлейлем после успеха «Характеристик», снова поохладели. Фрэзер, согласившийся печатать в своем журнале «Sartor» отдельными статьями и по пониженной плате, писал, что публика отнеслась к ним крайне несочувственно; в редакции были получены даже письма с угрозами прекратить подписку, в которых автора этих статей называли литературным маньяком. «Дидро» и «Калиостро», написанные Карлейлем уже в Крэггенпуттоке, были приняты и напечатаны, но намеченные затем статьи «О сенсимонистах» и «Бриллиантовое ожерелье» не встретили сочувствия. После первого увлечения и тори, и виги, и радикалы – все отвернулись от него, как бы

сговорившись. «Удивительную чепуху несет этот несомненно талантливый человек» – таков был всеобщий приговор. Один опытный издатель откровенно говорил ему: «Если вы хотите писать книги, которые бы ходко шли, сообразуйтесь со вкусом горничных и т. п. Понравьтесь им – и вы понравитесь большой читающей публике...»

Но мы знаем, что Карлейль шел как раз по противоположному пути: он удалялся в пустыню, совершенно забывал о шумной толпе и вступал в общение «с одним вечным, никогда не преходящим небом...» На какой же успех он мог рассчитывать в глазах «опытных» издателей? Карлейль и сам видел, что дела его принимают скверный оборот. Из поездки в Эдинбург он не вынес ничего отрадного. «Повсюду, – говорит он, – заметны следы всеобщего экономического и нравственного крушения; но в то время, как в Лондоне среди чудовищного оглушительного гама песни смерти слышатся благословенные звуки песни возрождения, – здесь все прогнило, все скандально, все лицемерно, и вы слышите одно только завывание полных ведм...» Он и здесь, в Эдинбурге, проводил время больше в библиотеках и собирал материалы по истории XVIII века. Неожиданное посещение Эмерсона, будущей американской звезды первой величины, воззрения которого имели много общего с воззрениями Карлейля, на мгновение нарушило монотонную жизнь наших пустынников. Эмерсон приехал в Англию, чтобы познакомиться с ее выдающимися людьми и при содействии Милля разыскал Карлейля. Таким образом завязалось первое знакомство между двумя великими представителями Англии и Америки, непрерывно поддерживавшееся с тех пор путем переписки. Эмерсон сделал немало для распространения славы Карлейля в Америке, предупредившей даже Англию в признании «нового пророка».

Как светлый луч промелькнул Эмерсон в печальном и сумрачном Крэгенпуттоке. Карлейль все более и более чувствовал себя несчастным и беспомощным; временами им овладевало уныние. Дальнейшее пребывание в пустыне становилось невозможным.

Он снова обращается к мысли пойти по протоптанной тропинке, то есть найти себе какое-нибудь занятие помимо литературы. Из газет он узнал, что в Эдинбургском университете открылись вакансии при астрономической обсерватории и по кафедре риторики. Он не прочь был занять то или другое место и написал Джеффрию, в то время игравшему уже видную роль в либеральном министерстве, не может ли он оказать ему поддержку? Но Джеффрий довольно резко отвечал, что Карлейль не в состоянии конкурировать с другими претендентами, имеющими больше его прав на занятие места при обсерватории; что же касается риторики, то эта

кафедра может быть занята только человеком выдающимся, пользующимся хорошо установившейся репутацией, как, например, Маколей... Конечно, Карлейлю было обидно выслушивать подобные речи от блестящего, но поверхностного «адвоката»; это отбило у него последнюю охоту выступить на проторенную дорожку, и он решился еще раз попытаться завоевать себе место в литературе, чтоб жить честным трудом литератора, в случае же неудачи – переселиться в Америку. Он действовал при этом, как сам говорит, с «рассудительным отчаянием». Но оставаться ли в Крэггенпуттоке или перебраться в Лондон, куда все настойчивее и настойчивее обращались в последнее время его мысли? Ничтожный случай решил вопрос в пользу Лондона: девушка, находившаяся у них в услужении, бросила их. «Чаша, – пишет по этому поводу Карлейль, – переполнилась от этой ничтожнейшей капли; после нескольких минут размышления мы сказали друг другу: зачем нам терпеть все эти подлости и гадости, сидеть в этом торфяном болоте, переносить одиночество, раздражаться и смущаться?.. Бросим все и отправимся в Лондон...» Сказано – сделано, и они немедленно приступили к осуществлению своей мысли.

Так кончилось пустынночество, продолжавшееся с небольшими перерывами шесть лет. Карлейлю оно принесло, бесспорно, громадную пользу. Бедность, лишения и неудачи сделали свое дело; они углубили его мысли и закалили сердце. Точно молот по раскаленному металлу, ударяли все эти беды по пылавшим диким огнем необузданной самобытности мыслям Карлейля, пока не придали им стройных, ясных очертаний. Благодаря этим шести годам, проведенным в неустанной работе, при полной умственной независимости, Карлейль вполне переработал смутно бродившие в нем мысли, накопил в своей памяти поистине изумительный запас фактов из всевозможных областей жизни и знания, победил свои сомнения и мог теперь выступить в полном блеске своего гения.

Глава VI. Пора творчества

Материальная необеспеченность. – «История французской революции». – Публичные лекции. – «Чартизм». – «О героях». – Лондонская общественная библиотека.

Итак, Карлейль в Лондоне. Он поселился в городском предместье Челси, вошедшем теперь в черту города. У него было в кармане две тысячи рублей, на которые он мог просуществовать год. А дальше? На работу в журналах рассчитывать было трудно: в его портфеле и так лежала уже неприятая статья «Бриллиантовое ожерелье», а печатавшийся «Sartor» вызывал самые нелестные отзывы. «Потакай нашим потребностям и вкусам, – казалось говорил ему литературный рынок, – а иначе тебя ждет неизбежная нищета и голод». Надежды на какое-нибудь место, на занятие помимо литературы у Карлейля также не имелось. На зато у него была уже в голове его гениальная книга, «История французской революции», – и он сказал себе: напишу эту книгу и брошу ее людям; пусть они принимают ее как хотят, а я возьму ружье и лопату и удалюсь в дебри Америки. Он уважал только двоякого рода людей: или действительного работника мысли, «проливающего свет в мир», или чернорабочего с мозолистыми руками и загорелым лицом. В его представлении и тот, и другой были последователями одной и той же религии, религии труда: «Кто не работает, не должен есть, не должен жить». Он чувствовал в себе призвание «глаголом жечь сердца людей»; но как человек сильный он понимал, что подобное призвание остается пустым притязанием, пока не оправдает себя, пока он действительно не «зажжет сердец». А это дается нелегко. Люди отвыкли от пророческих «глаголов»; надо было приучить к себе, создать новый вкус и потребности; тогда только общее равнодушие могло превратиться в восторг и энтузиазм.

В Лондоне у Карлейля был уже достаточно обширный круг знакомых; он познакомился еще, между прочим, со Стерлингом, молодым человеком, подававшим большие надежды, и его отцом, редактором «Таймс»; но серьезный как смерть пуританин чувствовал себя и в этом блестящем обществе не лучше, чем в крэгенпуттокской пустыне. В дневнике он жалуется, что у него нет опытных, преданных друзей, нет общества; «целых пять дней» ему не с кем обмолвиться словом, кроме жены; в нем вовсе не нуждаются ни редакторы, ни издатели... Что будет дальше? Положение критическое. «Пиши или умри», – как бы говорит ему жизнь. И

он усиленно работает над «Историей французской революции», перечитывает массу книг, которые не скупится доставать ему Милль, но сам предмет все еще представляется ему, при всем его чрезвычайно громадном значении, слишком темным, сомнительным, слишком глубоким. Когда предварительная работа была закончена, и он приступил к самому писанию, настроение несколько изменилось: «Я надеюсь, – говорит он, – что книга эта будет по крайней мере правдивой и что она послужит Богу, а не дьяволу... Это будет в полном смысле слова эпическая поэма революции, апофеоз санкюлотизма».

Но высказать все это, написать как следует – задача поистине ужасающая... «Однако, – говорит он в другом месте, – я чувствую, что живу лишь тогда, когда пишу...» Наконец первый том был написан и отдан в рукописи для прочтения Миллю. И вот однажды, уже довольно поздно вечером, к Карлейлям неожиданно является Милль, крайне расстроенный. Оказалось, что весь труд погиб безвозвратно: Милль передал рукопись г-же Тейлор, а служанка последней, приняв ее за связку ненужной исписанной бумаги, сожгла... Рукопись была действительно вся в наклейках и помарках; но это был *единственный* экземпляр. Карлейль стоически выслушал роковую весть и старался утешить растерянного друга. Но от горя он не мог сомкнуть глаз всю ночь; жена утешала его как могла. Наутро он решил снова написать книгу. Это стоило ему, однако, страшного труда; с отчаянием замечал он, что у него не осталось ничего в голове. «О, я несчастный, – восклицает он, – я решительно не могу справиться с этой злополучной книгой!» По целым дням сидел Карлейль за своим письменным столом, а работа не подвигалась. Воображение отказывалось работать; оно было как бы истощено. Голую мысль нетрудно воспроизвести, но совершенно другое дело – чувство, эмоция. Воспроизвести их – значит снова пережить, значит снова любить, ненавидеть, страдать. Повторить чувство, собственно, даже невозможно; оно должно быть непосредственным. Карлейль запер в ящик свои бумаги и позволил себе небольшой отдых.

«Tout va bien ici, le pain mangue»^[5], – замечает Карлейль относительно своей лондонской жизни. Небольшое сбережение, несмотря на все искусство Джейн, таяло. Будущее принимало угрожающие черты. Карлейль согласился принять от Милля тысячу рублей в вознаграждение за сгоревшую рукопись, однако дальнейшая работа затягивалась; судьба же «Sartor'a» не позволяла возлагать особые надежды и на эту книгу, и он поневоле обращается к старой мысли: нельзя ли найти каких-либо иных заработков помимо литературы. Временами он готов даже совсем бросить

ее: что дала она ему до сих пор?.. Он не прочь поработать на пользу народного образования; кстати, в Глазго организовалось в эту пору общество распространения образования; но ни виги, ни тори, ни даже радикалы – исключая небольшую кучку молодежи – не хотят иметь с ним дела (ведь он автор мистического, нелепого «Sartor'a!»). Затевадается новый радикальный орган; его друзья (Милль) стоят очень близко к этому делу; он питает надежду, что ему будет предложено редакторство; но, увы, «более опытные» радикалы находят, что он, несмотря на несомненную талантливость, говорит бессмыслицу... Правда, через Стерлинга Карлейль получил предложение работать в «Таймс», органе либеральной партии, но он не согласился подчинить себя партийным требованиям. Затем некто Базиль Монтегю, также из либерального лагеря, предложил ему место домашнего секретаря и жалованье в две тысячи рублей; от этого места он, конечно, тоже отказался. Таким образом, материальное положение Карлейля в первые два года его пребывания в Лондоне было далеко не завидно, и еще вопрос, удалось ли бы ему окончить свою знаменитую «Историю», если бы «Бриллиантовое ожерелье» и очерк «Мирабо», напечатанные в журналах, не поддержали его? Два года с лишком писал Карлейль свою «Историю французской революции». Вручая рукопись жене, он сказал: «Я не знаю, имеет ли эта книга какие-либо особенные достоинства и как люди отнесутся к ней; вероятнее всего, они постараются никак не отнестись; но вот что я мог бы сказать всем: в продолжение целого века у вас не было книги, которая вылилась бы так же непосредственно и пылко из самого сердца живого человека. Делайте с нею, что хотите, вы..!» «Это – дикая, необузданная книга, – пишет он Стерлингу, – нечто вроде самой французской революции». Действительно, публика была вовсе не подготовлена к появлению подобной книги; читатель, привыкший к известным шаблонам, не знал сначала, что сказать о ней: это какая-то «фантазмагорическая история на языке вавилонского столпотворения», – говорил он в недоумении. Журнальные обозреватели также останавливались перед нею в смущении, чувствуя непригодность своих мерок. Но немногие избранные сумели сразу оценить ее как гениальное произведение, а в Карлейле признать человека необычайных дарований, величайшего человека среди современников. Диккенс носил ее повсюду с собою. Саутсей прочел ее шесть раз. Теккерей написал о ней восторженную статью. Вожди либеральной партии – Маколей, Брум и другие – почувствовали, что Карлейль самый опасный для них противник; они не могли уже более относиться к нему с пренебрежением. Милль приветствовал книгу в «Лондонском обозрении» как «гениальное

произведение». Успех был несомненный, громадный, превосходивший всякие ожидания Карлейля. Из Америки Эмерсон писал, что там еще никогда не читали подобной истории.

Действительно, «История французской революции» для Карлейля не была *только* историей. «В течение многих лет, – говорит Фроуд, – он мучительно изучал тайну человеческой жизни, изучал в уединении, до самой глубины, чтобы познать истину ее и понять свою собственную обязанность. Он не верил ни в какие специальные „конституции“; он не был ни тори, ни вигом, ни радикалом... Он совлекал с себя всякие „формулы“ и неистово отбрасывал их прочь, находя, что „формулы“ в наши дни и есть именно та „ложь“, в которую люди якобы веруют!.. Он хотел сказать людям, что Бог и справедливость еще существуют в этом мире; что современные народы управляются все теми же Божескими законами, как и израильтяне в Палестине, что люди должны стремиться к истине, говорить правду, поступать справедливо. Когда они забывают об истине ради условной и удобной лжи, предпочитают свое собственное удовольствие, желание, честолюбие нравственной чистоте, мужеству и справедливости... тогда поднимаются страшные вихри, которые подхватывают их, как пылинку... Голодные и униженные миллионы поднимаются, чтобы сотворить суд над своими преступными правителями, хотя сами они немногим лучше тех, кого ниспровергают; если они бессильны построить на развалинах обитаемое жилище, то достаточно сильны, чтобы уничтожить и превратить в прах разваленные учреждения, служащие прикрытием и орудием гнета...» Карлейль действительно верил, что такова судьба человечества.

Французская революция представляла прекрасный исторический пример. «Франция из всех современных народов – величайшая грешница... Она отвергла свет Реформации, она замучила своих Колиньи. Она предпочла жить в свое удовольствие и положила на мишурный блеск своего Просвещения; она учинила подлог относительно религии, которой якобы придерживалась в то время, как в действительности не верила. Дворцы и замки ее утопали в роскоши и блеске, а когда бедный просил кусок хлеба, ему презрительно говорили, что он может питаться травой. Французское крестьянство выносило тиранию своих принцев и сеньоров, выносило терпеливо, пока терпение было возможно, и, как овца, подвергалось ежегодно стрижке на радость своего хозяина. Но обязанностям подданных соответствуют обязанности правителей. Наступает время, и аристократию, заправляющую делами, требуют к ответу... Аристократия оказывается лжеаристократией, духовенство –

лжедуховенством; они не могут более оставаться у власти, их ниспровергают. К несчастью Франции, она отрекается и от всякой истинной аристократии, от истинного духовенства. Возникает новая вера, получающая затем повсеместное распространение, именно – что всякий человек сам свой правитель, сам свой учитель; все люди равны, и всем принадлежит одно и то же неотъемлемое право на свободу... Таково новое евангелие. Его пытались осуществить даже с помощью гильотины, но всеобщее блаженство не наступило. Дело в том, что первый шаг этого нового исповедания веры ложен. Люди вовсе не равны; между ними существует бесконечное неравенство. Французская революция вовсе не означает уничтожения различий и освобождения от авторитета вообще, так как авторитет мудрых и добрых над глупыми и плутами – первое условие всякого здорового человеческого общежития. Французская революция – это суд над великими преступниками, из поколения в поколение творившими неправду и преуспевавшими...» Такова основная мысль Карлейлевой «Истории». Она начинается рассказом о крахе развратного старого порядка; люди мечтают о свободе, которая должна принести с собою царство мира, счастья и всеобщей любви; призрачные надежды гибнут; наступает черед убийств, террора и гильотины как средств возродить человечество... Карлейлева «История», говорит Фроуд, была названа эпической, но это скорее Эсхилова драма, содержание которой до малейшего факта взято из самой действительности, драма, в которой еще раз появляются на нашей прозаической земле фурии и потрясают своими страшными змеями. Это цельное, органическое произведение, вышедшее как бы из рук самой природы; в нем ничего нельзя прибавить или изменить. Перед вами тянутся бесконечной вереницей вполне живые люди из плоти и крови. Карлейль умеет вызвать их из праха разных мемуаров и документов, и они неизгладимо запечатлеваются в вашей памяти. Необычайная драматическая сила соединяется у Карлейля с такою же любовью к истине, составляющей для него нравственный долг. Он не щадил труда и с немецкой обстоятельностью изучал всякую мелочь. Но все это попадает предварительно словно в гигантское пылающее горнило и оттуда уже бьет могучей струей чистого металла... И хотя вы не найдете здесь особенного обилия цитат и ссылок на источники, однако это единственная история революции, полученная нами, как выражается Гарнетт, из первых рук.

Но пока эта знаменитая книга печаталась, пока ее оценили, Карлейль все еще мог говорить: «*Tout va bien ici, le pain mangue*» ... Нужно было позаботиться и о хлебе насущном. Одна знакомая предложила ему устроить публичные лекции. В интеллигентных кружках Лондона знали о Карлейле

как о крайне своеобразном, но во всяком случае далеко не заурядном человеке. Подписка на лекции пошла довольно успешно, и в конце концов Карлейлю, несмотря на всю его нелюбовь к позированию, даже совершенно безобидному, пришлось выступить в роли публичного лектора. За три дня до лекции он пишет матери, что ему хотелось бы обратиться к публике с такой речью: «Добрые христиане! Я чувствую себя совершенно неспособным беседовать с вами о германской или какой-либо иной литературе или вообще о чем бы то ни было земном; об одном я буду просить вас: будьте настолько добры – посадите меня под бочку на эти шесть недель, а сами с миром идите своим путем...» На опасения одного знакомого, как бы он не начал свою речь словами: «Джентльмены и леди» (в обратном порядке) и тем не испортил всего дела, Джейн насмешливо заметила: «Вероятнее всего, он начнет так: „Мужчины и женщины“, или даже: „Глупые твари, собравшиеся сюда ради развлечения“...» Однако все обошлось благополучно. Карлейль прочел шесть лекций и имел большой успех. Вообще он умел говорить и в гостиных составлял обыкновенно центр, около которого толпились все. Обычная в начале неровность и нервное возбуждение скоро проходили; он говорил спокойно, хотя всегда образно, сильно; в его речи всегда слышалась страшная убежденность, и чувствовалось, что в нем остается много невысказанного.

На следующий год, весной, Карлейль снова прочел двенадцать лекций по истории литературы вообще; затем, еще через год, – о революционных движениях современной Европы. Наконец последовали лекции о героях, и к ним мы еще возвратимся. Лекции давали хороший сбор. Но Карлейль очень неохотно выступал в роли публичного оратора; может быть, он был слишком искренним человеком для этого. Он предпочитал вести беседу при посредстве книги. И как только его материальное положение улучшилось, он совсем забросил лекции и никогда больше не возвращался к ним.

«История французской революции» была издана также в Америке и пошла там сразу бойчее, а «Sartor» отдельной книгой вышел там даже раньше, чем в Англии. Затем Карлейль предполагал выпустить сборник своих журнальных статей. Одним словом, он наконец проложил себе дорогу, заставил слушать себя, а тогда, само собой разумеется, явились и издатели, посыпались и деньги. Но Карлейль до самой смерти не изменил своего простого образа жизни. Пуританин по своим воззрениям, ни разу, ни при каких обстоятельствах не сказавший ни одного слова, которое было бы несогласно с его убеждениями, он остался до конца пуританином и в своей жизни. Светлая комната, чистое платье, свежая пища – вот все, что ему

было нужно. Когда же в качестве знаменитости ему пришлось отбывать тяжелую повинность торжественных обедов и т. п., он всякий раз с ожесточением вспоминал о них и говорил, что если бы в наше время появился Христос, то и его, вероятно, разные сановные лица не преминули бы приглашать на званые обеды.

После выхода в свет «Истории французской революции» Карлейль занялся Кромвелем. Сначала он относился к нему отрицательно, а симпатизировал скорее Монтрозу, вождю шотландских роялистов. Чем ближе, однако, знакомился он с делом, тем Кромвель вырастал в его глазах все больше и больше. Но чтобы снять с виселицы труп великого английского деятеля, повешенного историками, требовалась большая работа. А между тем Карлейля давно уже волновали разные мысли по поводу текущих злоб дня, и он искал случая высказаться. Мы видели уже, какое громадное значение имел для него вопрос об экономическом положении рабочего класса. Он сам был сыном рабочего, слышал рассказы своего отца про бедствия каменщиков, был свидетелем уличных беспорядков в Глазго в 1819 году, и симпатии его лежали на стороне рабочих. Парламентская реформа, на которую возлагали такие надежды, несколько не облегчила положения последних. По-прежнему рабочие пользовались в полной мере одной только свободой – свободой умирать голодной смертью. «Нужны, следовательно, дальнейшие реформы», – говорили передовые люди и агитировали в пользу так называемой «Народной хартии» (чартистское движение). Но Карлейль не верил в политические средства.

Таковы мотивы небольшого по объему, но великого по содержанию памфлета «*Чартизм*», который, говорит Гарнетт, до наших дней сохраняет всю свою свежесть, как будто он написан всего лишь вчера. Сила его не в частных положениях и утверждениях (они могут быть и ошибочны), а в общих исходных пунктах, в общем тоне. Вообще все значение Карлейля как политического писателя не в мерах, которые он проектировал, а в чувствах и стремлениях, возбуждаемых им в читателе. Его миссией было не установление законов, а вдохновение законодателей, и, по свидетельству компетентных англичан, ни один из их современных сколько-нибудь видных общественных деятелей, безразлично, к какой бы партии он ни принадлежал, не избежал его влияния.

Ввиду недоразумений, бывших у Карлейля с редакторами либеральных и радикальных журналов, он хотел поместить свой памфлет в консервативном органе. Предварительные переговоры с редактором окончились благополучно, но когда последний познакомился с рукописью,

то принужден был возратить ее обратно. Крайне характерно для самого памфлета, что Милль, узнав об этом, поспешил предложить страницы своего радикального журнала, доживавшего тогда уже последние дни. Милль хотел с шумом и треском закрыть его. Карлейль отказался участвовать в погребении и отпевании и выпустил свой памфлет отдельной книжкой. Первая тысяча экземпляров разошлась немедленно; потребовалась вторая. Все: радикалы, либералы, консерваторы – были обескуражены и поражены. Одни видели в авторе самого крайнего радикала, другие – тори; но в особенности было обидно, что он всевозможные средства, предложенные разными партиями, называл шарлатанскими, а о столь прославляемом прогрессе отзывался как о прогрессе по направлению ко всеобщему краху... «Это не радикал, – говорили либеральные журналисты, – а волк в овечьей шкуре». Карлейля немало занимали все эти толки, и он писал: «Некоторые думают, что я тори. О нет! Я один из самых крайних, хотя, быть может, и самых спокойных радикалов, какие только существуют в настоящее время в мире, – но многим это также не особенно понравится».

Действительно, Карлейля нельзя считать ни либералом, ни радикалом ни в английском, ни во французском, ни в каком-либо другом установившемся смысле этих слов. «Полярный медведь» был слишком велик, и подобные рамки представлялись для него слишком тесной клеткой. Он не мог примириться ни с какой клеткой; отвергая всякие формулы, а не одни только политические, он становился лицом к лицу с «обнаженной сущностью вещей» и с всесокрушающей дикой стремительностью обрушивался на тех, кто прикрывал эту «ужасающую» сущность пустыми фразами, безразлично, в какой бы цвет они ни были окрашены. В этом отношении Карлейль шел далеко впереди своих молодых радикальных друзей, и немногие из выдающихся людей XIX века могут сравняться с ним. Ни один из существовавших в Англии журналов не подходил по своей программе к его воззрениям. Поэтому он стал думать об издании собственного журнала, в котором Карлейль мог бы проповедовать свой радикализм, *основанный на вере*. Но эта мысль не получила осуществления, и Карлейль принужден был выпускать свои дальнейшие произведения отдельными книгами...

Лекции «*О героях, поклонении героям и героическом в истории*», прочитанные Карлейлем при большом стечении публики, произвели целый фурор. Он и здесь дерзко выступил против общего течения мыслей.

Герои в ту пору были развенчаны. Все люди равны не только по своим правам, но и по своим способностям. Распространение знаний положит

конец кажущимся различиям, представляющим лишь последствие невежества. Сама цивилизация есть результат развития знаний. Историю делают вовсе не великие люди, а масса. Так называемые великие люди суть порождение своего века, а не наоборот; если бы их и вовсе не было, то общий ход дел нисколько бы от этого не изменился, и так далее. Вот истины, которые находились тогда во всеобщем обращении и превращались уже в своего рода символ веры.

Карлейль не разделял их. Мало того, он считал их крайне вредными заблуждениями и выступил против них с горячей проповедью. «Нет, – говорил он, – не знание, а нравственное начало (долг) лежит в основе всей человеческой цивилизации и ее развития. Никакого равенства не существует; люди бесконечно различаются по своим способностям и дарованиям; ум и сердце составляют достояние немногих; масса убога во всех отношениях и, предоставленная самой себе, не способна ни к какому прогрессу. Движение человечества вперед всецело зависит от отдельных личностей, одаренных необычайными талантами и посылаемых в мир Провидением, – от героев. Всемирная история есть, в сущности, история великих людей, потрудившихся здесь, на земле... это биография великих людей...» Между массой и героями существует вечная, нерушимая связь: масса так или иначе поклоняется своим героям, почитает их. Но она не всегда умеет узнавать их; чтобы узнать героя, нужно самому быть до известной степени героем. А между тем в истории всякой великой эпохи самый важный факт заключается в том, как люди относятся к появлению среди них великого человека.

«Первоначально люди повергались перед великим человеком в прах, доходили до изнеможения в своем обожании, видели в герое бога». Первая лекция и посвящена герою как божеству; в ней Карлейль останавливается, в частности, на древнескандинавском язычестве и иллюстрирует свою мысль примером Одина. Затем герой последовательно является в образе пророка (Магомет; вторая лекция), поэта (Данте и Шекспир; третья), пастыря (Лютер и Нокс; четвертая), писателя (Джонсон, Руссо и Бёрнс; пятая) и наконец вождя (Кромвель, Наполеон)... Настоящая эпоха, эпоха господства, с одной стороны, пустого формализма, а с другой – материализма и атеизма, неблагоприятна вообще для появления героя. И не в том горе, что героя загоняют на чердак и там заставляют его вести полуголодный образ жизни (Руссо), а в том, что *скептицизм* – этот умственный и нравственный паралич, это проклятие нашего времени – тяготеет и над ним, героем, и ему немало приходится тратить сил на бесплодную борьбу с сомнением. В первой лекции Карлейль приводит один

прекрасный древнескандинавский миф – «Сумерки богов». Божественные и хаотические силы вступают во всеобщий бой, охватывающий весь мир; они борются до взаимного истребления; сумерки превращаются в тьму, и гибель поглощает сотворенный мир; но это не окончательная гибель; хотя все умирает, даже боги умирают, однако эта всеобщая смерть является лишь погасшим пламенем феникса и возрождением к лучшему, более величественному существованию... Должны возникнуть новые небеса и новая земля; божество более возвышенное и справедливое должно воцариться между людьми...

«Герои» – одно из лучших произведений Карлейля. Современные историки не разделяют, вообще, его взглядов на героев и массу; но никто не станет отрицать глубины этой книги и в высшей степени благотельного нравственного влияния, какое оказывает она на всякого читателя; я не говорю уже о самих характеристиках проходящих перед вами личностей: Магомета, Шекспира, Данте, Лютера, Кромвеля... В этом отношении Карлейль большой мастер. Например, после его лекции о Магомете стало уже невозможно относиться к великому арабскому пророку как к шарлатану... Все его рассуждения о великом значении для человечества героев, о неизменной преданности людей этим последним как носителям света и правды, о религиозности, святости, серьезности, искренности, великом царстве молчания и так далее, – причем все это высказывается образно, с редкой силой и пылкостью, – помогают человеку высвободиться из тисков холопской философии, по которой «для камердинера не существует великого человека», и приподымают общий уровень нравственных чувств читателя.

Еще до «Героев» Карлейль задумал написать о Кромвеле и республике. Предстояло перечесть массу книг, поработать над рукописями, но мучительнее всего для него было то, что фигура протектора долго не принимала отчетливых, ясных очертаний, и Карлейль то всецело погружался в чтение, ездил осматривать места событий, то совсем забрасывал свой труд. В это же время по его почину была открыта в Лондоне общедоступная общественная библиотека. В «Героях» есть несколько прекрасных страниц, посвященных значению книги; а между тем, говорил Карлейль на митинге, Лондон в смысле доступности книг хуже какой-нибудь Дагомеи.

Глава VII. Пора творчества (продолжение)

Работа и отдых. – «Прошлое и настоящее». – «Жизнь и переписка Оливера Кромвеля». – Смутное время конца сороковых годов. – «Памфлеты последних дней». – Плачущий Иеремия. – Проклятые петухи. – Своеобразный кабинет. – Смерть матери. – «История Фридриха Великого»

Работа истощала Карлейля, он действительно писал «кровью своего сердца и соком своих нервов». Его ум походил не на лабораторию, в которой все расставлено по своим местам, все делается спокойно, рассчитано, а на громадный очаг: он нагромождал в него поразительно много всевозможного топлива, и очаг пылал; все негодное обращалось в дым и гарь и уносилось прочь; все же ценное переплавлялось и выливалось в огненных образах. Как истый немец, он изучал каждую мелочь, всякое ничтожнейшее обстоятельство, касающееся интересующего его предмета; в этом отношении действительно можно сказать: копните, где угодно, в его тридцати с лишком томах, и вы нигде не найдете воды. Но он приступал к писанию лишь тогда, когда вполне овладевал материалом, когда собранная отовсюду руда расплавлялась и была ключом из его сердца. Такая напряженная работа требует отдыха.

Карлейль ежегодно навещал свою мать. Сделавшись знаменитым, он не изменил своего обыкновения; для него по-прежнему представляло величайшее удовольствие усесться рядом с матерью и, покуривая, вести бесконечные беседы. Вместе с тем его стали приглашать разные знакомые из высшего круга к себе в деревню. Карлейль не отказывался. Но в конце концов у него снова возникает мысль возвратиться в Крэгенпутток: только там он может работать по-настоящему. «Как часто, – пишет он Стерлингу, – я, несчастное создание, громко взываю здесь, среди этого бессмысленного вихря жизни, грозящего растереть меня в порошок, об уединении в дикой пустыне, чтобы вокруг меня были поля, а вверху – небо...» Но Джейн не соглашалась. Вскоре умерла его мать. Карлейль поехал устроить дела. Еще раз пытается он заговорить в письмах о переселении в пустыню и сам чувствует, что Джейн теперь тем более не согласится.

И вот он снова в Лондоне и снова среди фолиантов; но, увы, чем больше он читает, тем больше, как сам выражается, растет его глупость. «Кромвель» *невозможен*; от него осталась теперь только тень; ее невозможно облечь плотью и кровью... В это время ему попадает под

руку одна старинная английская хроника двенадцатого века. Двенадцатое столетие – и девятнадцатое: вся современная жизнь с ее надвигающимися грозами (то было как раз смутное время, предшествовавшее отмене Хлебных законов) сразу получает в голове Карлейля удивительно своеобразную перспективу. Он никогда не забывал о злобах дня; но в последнее время, когда благодаря поездкам ему приходилось лично наблюдать бедственное положение земледельцев и рабочего класса, эти «злобы» особенно приковали его внимание. Он оставляет на время своего «Кромвеля» и принимается за *«Прошлое и настоящее»*. Книга была написана в семь недель и вышла сразу отдельным изданием. Она вызвала у одних горячее удивление, у других не менее горячее негодование.

Редактор консервативного органа Локгарт писал, что только Карлейль мог задумать и воплотить такое произведение, что оно пролило для него совершенно новый свет на жизнь, но что он не может согласиться ни с одним выводом автора, исключая только того, что мы все ошибаемся и, так сказать, осуждены на вечную муку...

Точно какое-то тяжелое бремя спало с плеч Карлейля, когда он написал свое *«Прошлое и настоящее»*. Злоба дня долго стояла между ним и великим протектором; теперь она была удовлетворена, и он с жаром принялся за оставленную работу и погрузился с ушами и головой в своего «Кромвеля», как писала его жена. Четыре года работал он над этим сочинением – «четыре года беспросветного труда, неясных размышлений, пустой борьбы и несчастий». Прошло целых двести лет, прежде чем сбылась надежда умиравшего Кромвеля; но она сбылась. Явился человек, который сумел понять и оценить его. Карлейль действительно снял с виселицы труп протектора, повешенного в цепях предшествующими историками. «Эта книга, – говорит Фроуд, – далеко превосходит все, что писалось в нынешнем столетии по истории Англии». Карлейль долго колебался, какую форму придать своему труду; он несколько раз принимался писать и уничтожал написанное. Наконец ограничился тем, что собрал письма и речи Кромвеля и снабдил их, где требовалось, своими комментариями, описаниями и дополнениями. Получилась история, подобная которой едва ли существует, хотя наших патентованных историков она поражает отсутствием «законов», «формул», «общих принципов» и т. д., и т. д... Карлейль писал не из-за денег, и не писательский зуд его разбирал. Он писал, потому что не мог молчать, потому что считал своим долгом проповедовать правду и истину, ибо «такой талант ему дан был от Бога». И он заставил слушать себя даже противников; для юных же сердец его речи звучали точно «десять тысяч труб». Но дело сделано, долг исполнен.

Мысль облеклась в плоть и кровь. Она отделилась от своего творца и начала самостоятельное существование. Карлейлю мало было дела до того, как мир отнесется к его произведению, к его проповеди. После всякой большой работы он чувствовал себя как бы опустошенным; наступала реакция, – и он снова возвращался к жизни, чтобы набраться впечатлений и вложить свой перст в современные болячки.

Это был уже конец сороковых годов. В самой Англии – полный разгар чартистского движения, завершившегося подачей известной петиции. В Ирландии – голод, массовые выселения, волнения. На континенте – ряд революционных вспышек: кровавые парижские дни точно электрическим током пронизали Европу и отозвались в Пруссии, Австрии и так далее. Все пришло в брожение. И этот всколыхнувшийся социальный хаос надеялись умиротворить конституционными реформами, парламентскими словопрениями и т. п. Правда, во Франции была провозглашена и якобы признана необходимость «организации труда», но, к сожалению, этот вопрос недолго занимал французских политических деятелей.

Карлейль же, как мы знаем, не только не признавал катехизиса правоверной либеральной партии, но выступил самым жестоким ее противником. Понятно, что он не мог относиться безучастно к происходившим на его глазах событиям. Он дважды путешествовал по Ирландии, видел собственными глазами все бедствия народа, перезнакомился с ирландскими руководителями; но он не разделял их взглядов и планов. «Я должен написать об Ирландии – во всем мире нет другой такой злополучной страны», – говорил он себе; но мысли, которые Карлейль предполагал высказать, по-видимому, не принимали для него ясных очертаний; полученные впечатления не распялись внутренним огнем, а без этого он, собственно, не мог писать. Или, может быть, вернее будет сказать так: он видел, что бедствия злополучной Ирландии грозят разразиться и над Англией, и считал своей обязанностью предотвратить надвигающуюся грозу. Как бы там ни было, но специально об Ирландии он ничего не написал, если не считать коротенького описания самого путешествия, не предназначавшегося даже к печати.

Отношение Карлейля к событиям, происходившим во Франции, видно, между прочим, из письма его к другу Эрскину. «Бесспорно, – пишет он, – никогда в наше время не было подобного зрелища. Я считаю его и весьма отрадным – и вместе с тем невыразимо печальным. Отрадным, насколько оно показывает нам, что все люди неизменно стремятся к правде и справедливости; что никакой шарлатан, как бы он всемогущим ни был, никакая самохитрейшая *лиса*, в данном случае в образе Луи-Филиппа, не

может построить прочного дома на лжи, не может воздвигнуть „трона неправды“... Но, с другой стороны, как прискорбно, что мир, протестуя против лжеправительства, не находит иного выхода, кроме анархии, отрицания всякого вообще правительства... Едва ли со времен нашествия диких тевтонов и гибели древней Римской империи Европа принимала когда-либо такой странный вид и все так переворачивалось кувырком... Все в Лондоне громко восстают против Франции... И я тщетно пытаюсь доказать, что „организация труда“ и есть именно самый важный вопрос из всех вопросов для всякого правительства...»

Однако «отрадное» Карлейля скоро рассеялось, и сохранилось одно только прискорбное. Через два года Франция посадила на императорский трон Наполеона; Англия преспокойно оставалась при своем *laissez faire*^[6] и надеялась разрешить все вопросы при помощи политической экономии и парламентаризма; Ирландия была превращена, посредством огня и лома, в груды развалин, и два миллиона несчастных ирландцев покинули свое отечество с проклятиями на устах... И все это совершилось под прикрытием рассуждений о свободе и братстве, о прогрессе, приносящем освобождение даже неграм в Америке, и так далее. Карлейль не мог сдержать своего негодования, и оно вырвалось бурным и диким потоком в ряде его «*Памфлетов последних дней*», написанных, как он выражается, вразрез с мнениями всего мира. Действительно, если в каком сочинении он и подымает свою руку против всех людей, так это именно в «Памфлетах», и, естественно, руки всех людей поднялись против него. Памфлетов вышло всего 12; ни один журнал не решился приютить их и взять на себя ответственность; поэтому они вышли также отдельным изданием. Я упомяну здесь о некоторых из них.

«*По поводу освобождения негров*». Либералы заботятся об эмансипации чернокожих; но позвольте спросить, в каком положении находится свободный белый рабочий? Не такую ли свободу сулят и чернокожим? Рабство, по крайней мере, обеспечивает человека от голодной смерти; негры не нуждаются в эмансипации; им нужно разумное руководство и управление, и так далее.

«*Настоящее время*». Демократия все надежды возлагает на подачу голосов и баллотировочный ящик; но при такой системе св. Павел и Иуда располагали бы одинаковыми шансами попасть в правители. Нельзя стаду баранов предоставить выбор своего вожака; управлять людьми должен самый способный; баллотировочный же ящик может передать власть в руки не по-настоящему способного, а *фальшиво* способного человека, и потому на самом деле вовсе *не способного*.

«*Образцовые тюрьмы*». Общество, сознающее в глубине души, что оно держится на несправедливости, старается заглушить свою совесть разными филантропическими учреждениями, в том числе устройством образцовых тюрем, в которых негодяй и убийца пользуется лучшей жизнью, чем честный труженик на свободе; чувствовать сострадание к человеку, попавшему в беду, похвально, но не следует при этом забывать и нарушать справедливость. Если бы он сам, говорит Карлейль о себе, был подвергнут подобному заключению, то, свободный от всяких забот и тревог, с чернилами и бумагой под рукой, он написал бы такую книгу, какой читатель никогда не дождется от него теперь...

Затем следует ряд памфлетов, трактующих о демократии, парламентаризме и пауперизме, причем в одном из них, посвященном вопросу об ораторском красноречии, проводится мысль, что современные политические ораторы являются паразитами демократии, перед которой они заискивают и которой льстят и таким образом преуспевают.

Особенной силой отличается последний памфлет – «*Иезуитство*». Иезуит не только тот, кто принадлежит к известному «обществу Иисуса», но всякий, кто умышленно закрывает глаза на истину, кто хотя и сознает свою неискренность, но благодаря долгой практике теряет чутье и считает себя в конце концов даже искренним человеком. Так, в Англии исповедуют одновременно христианство и политическую экономию, тогда как эти два учения совершенно несовместимы: христианство утверждает, что мы не должны заботиться о земном, а политическая экономия только об этом последнем и толкует; христианство говорит, что страсть к деньгам – корень всех пороков, а политическая экономия – как раз наоборот, что чем человек больше старается нажить, тем лучше для общества, и так далее. «Иезуитство» и состоит в том, что англичане убедили себя в истинности и совместности обоих этих учений. Одно они исповедуют по воскресным дням, а другое – в будни. В результате же получается «свинская философия», которую Карлейль с необычайно злой иронией и излагает по пунктам.

Нетрудно себе представить, как все фешенебельное английское общество восстало против неслыханной дерзости новоявленного пророка. Многие из его поклонников резко отвернулись от него; даже друзья – и те были поражены: Милль, который, впрочем, к этому времени уже значительно охладел к Карлейлю, написал негодующую статью против памфлета об эмансипации негров, и между ними прекратились всякие отношения. Среди читающей публики распространился слух, что Карлейль пьет, а быть может, даже сошел с ума. Карлейль пьет! Какой только

нелепости не поверит так называемая публика, когда ее мозговой желудок, уже издавна приученный к разным искусственным специям, отказывается переварить новую мысль... Сколь бы странными ни казались эти памфлеты Карлейля, но в них немало правды, что признает всякий, кто отрешится от «иезуитства».

Карлейля нисколько не смущали подобные выходки против него: он должен был высказаться в той или иной форме, и он высказался; и теперь ему мало было дела до того, как люди отнесутся к его словам.

В этих памфлетах сказалась раздражительность желчного человека, наложившая на всю жизнь Карлейля крайне своеобразный отпечаток. Его дневник наполнен почти сплошными воплями. Это своего рода плач Иеремии, но плач не об отечестве и не о человечестве, а о самом себе, о человеке, «о бедной, тщетно борющейся душе» среди беспроглядного хаоса, окутывающего ее со всех сторон. Ни сравнительная материальная обеспеченность, ни слава, ни знакомства и дружба с лучшими людьми своего времени – ничто, по-видимому, не могло утишить внутреннюю скорбь этого человека; его стенания заканчиваются обыкновенно коротенькими призывами к самому себе, вроде: бодрись, смертный; исполняй свой долг; делай свое дело; молчание!.. Но не подумайте, что перед вами угрюмый, мрачный, смотрящий на все исподлобья отщепенец. Этот проповедник молчания умел так говорить, что приводил в восторг светское общество Лондона; этот плачущий Иеремия умел смеяться самым непринужденным, заразительным смехом «во всю глотку». Истинная веселость всегда покоится на глубокой серьезности, и Карлейль действительно обладал тем «фондом веселости», о котором говорит Мирабо.

Дело, однако, шло уже к старости: Карлейлю было под шестьдесят. Несколько лет он уже мучился над своим «Фрицем» (Фридрихом), много читал, изучал разные материалы, или, как он выражается, «прижимал к своей груди нечистых тварей, прусских тупиц, в надежде подслушать тайны их сердца», и по обыкновению отчаивался. «Все еще, – пишет он в дневнике, – копаюсь – вожусь с Фридрихом... Нет слов выразить, как скверно чувствую я себя: совершенно одинокий, удрученный, онемелый, словно заколдованный! И целые дни, месяцы, даже годы пребываю я в таком недостойном, опустошенном, мучительно-презрительном состоянии, с открытыми глазами, но связанными руками. О милосердное небо! Разве я никогда уже не оживу более, разве мне так и суждено оставаться погребенным под тиной до конца дней моих?.. Проснись! Воспрянь!.. Здесь, на земле, для меня нет иной радости, нет иной жизни, кроме труда!»

От трагического до смешного один шаг. История с петухами показывает, до чего раздражителен был Карлейль в это время. Он искал безусловной тишины; малейший шум мешал ему работать; кроме того, он страдал бессонницей. Как назло, в том же доме, где он жил, кто-то развел кур. Пение петухов приводило его в бешенство; он клялся, что перестрелял бы их, если бы у него было ружье, проектировал закупить их всех и извести, снять весь дом и так далее. «Петухи должны, – пишет он жене, – или быть выселены вон, или погибнуть. Это дело решенное. И я сам сделаю все это, если мне никто не хочет помочь...» Наконец было решено устроить наверху, под самой крышей, отдельную комнату с двойными стенами и со стеклянным потолком; таким образом он мог вполне изолироваться; впрочем, Дженни все-таки скупила петухов и зарезала. В этой своеобразной комнате Карлейль и писал своего «Фридриха». Целый ряд горестных событий: непонятная размолвка с Дженни, болезнь, смерть леди Ашбертон, которую он высоко ценил и с которой был в самых дружеских отношениях, и в особенности смерть матери – все это легло тяжелым камнем на измученную душу Карлейля.

Мы знаем, как он любил свою мать; с детства до последних дней ее жизни он делился с ней своими мыслями; он считал ее первой женщиной в мире. И ее не стало. Карлейль почувствовал, что в нем как бы все застыло, все *замерзло*. «Наступила, – говорит он, – последняя пора моей жизни, пора старости».

В таких условиях создавалась «История Фридриха Великого». Прочтите удивительное описание последних дней отца Фридриха. Потрясающая сцена, хотя без всяких внешних эффектов! Что чувствовал сам Карлейль, когда писал эту сцену?! Он схоронил отца и мать, и для него смерть не была только чем-то неведомо-ужасным и страшным...

Чтобы ознакомиться с местом битв, возведших маленькую Пруссию в ранг первоклассного государства, Карлейль два раза ездил в Германию, осмотрел все исторические места, ознакомился с материалами, которых не мог достать в Лондоне. Ему пришлось изучить военное дело, и он так хорошо понимал его, что лучшие военные авторитеты признают образцовым его описание битв. Биограф Карлейля Фроуд, сам известный историк, находит, что лучшей работы о Фридрихе Великом не было и нет до сих пор во всей вообще литературе. А Фридрих – не только Фридрих; он до известной степени олицетворяет собою весь XVIII век. Фридрих Великий и Вольтер – вот две грандиозные фигуры, вокруг которых как вокруг своего центра вращается весь XVIII век. Потому-то Карлейль и остановил свой выбор на великом пруссаке, хотя в его понимании тот

далеко не вполне мог считаться героем, что и доставляло ему при работе немало мук.

«История» выходила томами. Сначала появились только два первые. Издание разошлось немедленно; так же быстро была распродана и вторая тысяча. Книга вышла осенью, а в декабре потребовалось уже третье издание. Карлейль заперся в своем чердачном кабинете и принялся за дальнейшие тома. Снова потянулись годы напряженной уединенной работы. В общей сложности «Фридрих» отнял у Карлейля 12 лет. Весь труд был окончен в 1865 году. Англичане любят свое, и чужая история не имеет для них захватывающего интереса; кроме того, Карлейлев «Фридрих» сам по себе был вовсе не по вкусу английскому патриотизму; однако из всех произведений Карлейля именно «Фридрих» при первом же появлении вызвал самые лучшие отзывы. Массивный труд (пять больших томов) придал солидность и прочность блестящей славе автора. Американцы забыли все выходки желчного гения по поводу освобождения негров и встретили «Фридриха» с восторгом. Эмерсон в статье, обошедшей всю Америку, предлагал, чтобы весь английский народ поднялся и дружным возгласом поблагодарил автора книги, увенчал его дубовыми листьями и тем выразил свою радость, что среди них существует такая голова. «Фридрих» немедленно был переведен на немецкий язык и повсюду в Германии, где, конечно, лучше чем в Англии знали, с какими материалами Карлейлю приходилось иметь дело, встретил самые благоприятные отзывы. Сам же Карлейль был рад, что он избавился от этого «страшного дела», которое едва не убило его совсем, от всех мучений и борьбы, длившихся в течение двенадцати лет и не заслуживающих ничьей симпатии, да и не нуждающихся в ней.

Глава VIII. Закат жизни и общая оценка

Избрание ректором Эдинбургского университета. – Смерть жены. – «Шумящая Ниагара». – Письмо по поводу франко-прусской войны. – «Первые норвежские короли». – Аудиенция у королевы Виктории. – Германский орден. – Ни баронетства, ни ордена Подвязки. – Смерть. – Общая оценка.

«История Фридриха Великого» – последняя капитальная работа Карлейля. Слава его достигла теперь своего апогея. Даже родина (Шотландия) и та, наконец, нашла нужным почтить чем-нибудь своего сына. Эдинбургские студенты еще раньше приглашали Карлейля читать лекции, но он тогда отказался. Теперь ему предложили занять место ректора того университета, в котором он сам некогда учился: застенчивый, никому не известный и не из выдающихся студент, теперь, через пятьдесят с лишком лет, ставший знаменитостью, признанной всем культурным миром, он мог составить истинное украшение своей *alma mater*. После некоторого колебания Карлейль принял предложение и отправился в сопровождении Гексли в Эдинбург, где должна была произойти церемония вступления его в ректорство. Жена не решилась ехать с ним; больная, она боялась, что не перенесет волнения, и, поручив мужа друзьям, осталась в Лондоне.

Карлейль не любил торжественных церемоний, речей и т. п. Во всем этом, ему казалось, всегда было что-то актерское, деланное. Он знал, что может заставить слушать себя; но со времени своих лекций ему никогда не приходилось выступать перед публикой в качестве оратора; заранее же написать речь и затем прочесть ее он не хотел. Всю дорогу ему было не по себе; какое-то тяжелое чувство, что речь окажется невозможной, что он неизбежно «провалится», давило его... «Пусть так, – думал он. – Я должен подготовиться встретить свой провал с полным спокойствием и равнодушием», – и ко дню церемонии значительно приободрился. Его нарядили в торжественные одежды – «пурпур и горностаи» – и в сопровождении разных официальных лиц повели по громадной зале, наполненной народом, к кафедре, с которой он должен был говорить.

Всю жизнь свою Карлейль оставался тем, чем он был на самом деле: он не терпел прикрас и искусственности. По всей вероятности, говорит его биограф, он снял с себя пышное, но тяжелое академическое облачение и обратился к своим молодым слушателям просто как человек. Он сказал, в

сущности, то же, что писал во всех своих сочинениях. Два поколения прошло уже с тех пор, как он сам учился в стенах этого университета. Третье поколение, избрав его ректором, признало, что он недаром прожил свою жизнь, что он не был недостойным работником в винограднике. Затем он обратился к студентам, говорил им о необходимости честно трудиться и готовиться к будущей жизни; советовал читать больше по истории Греции, Рима, Англии, обращать особенное внимание на религиозное чувство, воодушевлявшее эти народы; религия – самое важное, теология не имеет такого существенного значения. Карлейль не искал популярности, поэтому он не побоялся коснуться политических вопросов и вполне откровенно высказать свое мнение. Демократия, сказал он, по самому существу своему не может быть долговечной, а в тех условиях, в каких находится человечество сейчас, особенно важно, чтобы благороднейший и мудрейший управлял, а все остальные повиновались. В настоящее время всеобщей анархии и разъединения большие надежды возлагаются на «распространение знаний»; но истинное знание так же редко, как истинная мудрость, истинное превосходство; затем он осуждал всеобщую веру в ораторов и ораторское искусство и убеждал своих слушателей не отступаться от истины и правды, идти своим путем, не обращая ни на что внимания. «Не думайте, – закончил он свою речь, – что люди настроены непременно недружелюбно к вам или желают вам зла. Действительно, часто вам придется наталкиваться на помехи, как бы нарочно устроенные, и часто будет казаться, что все против вас; но если вы обдумаете хорошенько свое положение, то убедитесь, что люди идут своей дорогой, иной, чем вы, и, двигаясь стремительно по своему пути, неосторожно задевают вас. Так бывает в большинстве случаев; специально же к вам они не питают никакой злобы. Но вы должны во всяком случае идти своим путем; вы не должны рассчитывать, что ваша дорога будет усеяна розами; каждый же, кто действительно того заслуживает, встретит в своей жизни друзей и узнает, что такое успех».

Эта простая речь (в ней, быть может, было немало общих мест на взгляд разных «практиков») произвела на слушателей громадное впечатление, и зала наполнилась громом восторженных рукоплесканий. Весь секрет в том, что «общие места» говорил на этот раз человек, для которого они имели действительное жизненное значение. Карлейль не ожидал такого эффекта; но он еще более удивился, когда узнал, что его злополучный «Sartor» был тотчас же расхвачан в количестве 20 тысяч экземпляров и потребовались дешевые издания других сочинений.

Увенчанный общественным признанием «пророк новейших времен»

собирался уже покинуть Эдинбург, не зная, какой роковой удар готовился поразить его. Бедная Джейн давно страдала нервным расстройством. Здоровье ее значительно ухудшилось после одного несчастного случая, когда она попала на улице под колесо экипажа и повредила себе ногу. Она долго не могла ходить, но мало-помалу оправилась. Получив радостные вести из Эдинбурга, Джейн поехала сообщить их своим друзьям. С нею была маленькая собачка, которую она выпустила из коляски побегать. Собачка попала под колесо встречного экипажа. Джейн выскочила на жалобный вой, схватила собачонку и бросилась в свою карету. Кучер поехал дальше... Не получая приказаний от своей госпожи, он попросил прохожего заглянуть в карету. «Вези к доктору!» – сказал тот. Джейн оказалась мертвой...

Карлейлю в эту пору было 70 лет; он прожил еще 15 лет. Интерес к людям и жизни, ясность мысли, даже способность к усидчивой работе – все это он сохранил до конца. Но удар был слишком жесток и чувствителен: Карлейль не мог уже более справиться с силами для большой работы. Дневник Джейн раскрыл ему, что она немало страдала, что он не дал ей счастья. Он обвинил во всем себя и мучился. Его «*Воспоминания о Джейн Уэлш-Карлейль*», а также примечания и комментарии к ее письмам переполнены самообвинениями и горестными восклицаниями. Несмотря, однако, на все горе, он не переставал отзываться на злобы дня. Так, в 1867 году им был написан памфлет «*Шумящая Ниагара*» (по поводу парламентской реформы), в котором он доводит до самых крайних выводов свои взгляды на демократию и парламентаризм. Затем, в 1871 году, он написал письмо по поводу франко-прусской войны; он стоял на стороне Пруссии и на бедствия Франции смотрел как на расплату за ее легкомыслие, наполеоновский режим и так далее. Карлейль отозвался несколькими строками и на нашу последнюю войну с Турцией и советовал англичанам не вмешиваться в это дело. Наконец, как бы отдавая должное своим любимцам – древнескандинавским героям, он написал в 1879 году книгу о первых норвежских королях. Таким образом, несмотря на горе и старость, мысль его продолжала работать и он продолжал «поучать», хотя весь мир (по крайней мере англосаксонский), признав его великим человеком, все-таки по-прежнему не разделял его взглядов и шел и идет своим путем.

Великий человек остался твердым и несокрушимым, как алмазная скала, в своих верованиях, и мир пришел к нему и предложил разные свои знаки отличия. Королева Виктория выразила Карлейлю глубокое соболезнование по поводу неожиданной смерти жены, а года через два

пожелала и лично познакомиться с ним. Германский император пожаловал ему орден, дававшийся только за действительные заслуги, ввиду чего Карлейль не отказался принять его. Дизраэли, бывший тогда первым министром, со своей стороны хотел во что бы то ни стало наградить чем-нибудь великого человека и предложил ему на выбор баронетство или орден Подвязки. Но суровый пуританин уважал только два звания: звание чернорабочего и звание мыслителя, мудреца, которых никто не может «подарить»; к тому же он был бездетен. Он отказался и от баронетства, и от ордена Подвязки и до конца дней сохранил свой простой, скромный образ жизни. Несмотря на всю свою суровость, на филиппики, которыми он разражался против общественной филантропии, это был в высшей степени чуткий и отзывчивый человек, никогда не отказывающий тем, кто обращался к нему за помощью. В последние годы его особенно осаждали просители, и он кому помогал деньгами, кому рекомендациями; больше же всего к нему обращались люди молодые или потертые жизнью с вечным вопросом «что делать?» Он никому не отказывал в советах и всегда отвечал на письма.

Карлейль умер в 1881 году в возрасте 85 лет. Его похоронили, согласно желанию, на деревенском кладбище в родном Эклфекане, подле отца и матери. Кружок друзей и почитателей, знавших лично великого человека, провожал до могилы его останки, где они были преданы земле без всяких религиозных церемоний. Сын каменщика, возводивший труд в религиозный догмат, пожелал и после смерти остаться среди каменщиков и земледельцев и отказался от всяких пышных церемоний, ибо для него не было ничего ненавистнее деланности и лжи.

У нас, в России, Карлейль не только не пользуется популярностью, но почти неизвестен. Мы имеем в переводе почти все сочинения Дж. Ст. Милля, а о Карлейле знаем лишь понаслышке. И дело вовсе не в том, что он слишком своеобразен и оригинален. Чем оригинальнее человек, тем большую ценность для всего человечества он представляет, так как истинная оригинальность – это прежде всего искренность. Мы, русские, не интересуемся Карлейлем по убожеству своей умственной жизни; для нас, по нашей малокультурности, недоступны еще глубины его чувства и высоты его мыслей; в лучшем случае мы вместе с Миллем сможем сказать, что не в состоянии вполне обнять его. Однако даже в Англии не настало еще время для правильной оценки этого удивительного пуританина, философа, поэта, историка, сатирика. Действительно, кто он? «Дикий бык», заблудившийся в лесах Германии, «белый медведь», прибитый волной океана из полярных стран к берегам мутной Темзы, или пророк,

призывающий людей сбросить старые одежды и возвещающий грядущее? Или иначе: кто он, редкостный ли экземпляр давно отжившей породы людей, которого можно изучать с таким же любопытством, с каким мы изучаем ихтиозавра, или же прообраз новых людей, глашатай новой, грядущей жизни? Что современная буржуазия, с ее культурой, верованиями, с ее общественными неправдами, не последнее слово человечества, – в этом нет никаких сомнений; но каковы будут «новое божество и новые небеса», оправдаются ли пророчества Карлейля, может показать только будущее.

Учение Карлейля в своем целом – это не какая-нибудь безжизненная метафизическая система, это философия самой жизни, «истекающая из сердца и говорящая сердцу». В основу всего он кладет религию или, может быть вернее сказать, религиозное отношение к миру и жизни. Его бог есть тайна, которую можно назвать, говорит Тэн, одним только именем – идеал. Там, где эта тайна становится непостижимой, остается одно – молчание. Отсюда беспрестанные восхваления великого царства молчания.

Всю природу, весь материальный мир Карлейль считает «сверхъестественным», откровением Высшего Существа. В этом отношении он принадлежит к самым крайним идеалистам и повторяет во всевозможных вариантах, что все мы созданы из того же материала, что и мечты. Но рука об руку с возвышенным идеализмом идет его здоровый реализм. Он ненавидит метафизику и беспощадно осмеивает ее. Повсюду он ищет сущности, но сущности живой. Мир – тайна, жизнь – тайна; но это тайна, открытая для всех. Словопрения теологов и пустые метафизические выкладки только затемняют ее. Смотрите открытыми глазами на *действительность*, ведайтесь с *фактами*, и вы проникните в эту тайну глубже, чем любая метафизическая система. Истина прежде всего. Ко всякому вопросу, ко всякому предмету, вообще ко всему сущему Карлейль подходит с моральной точки зрения. Для того чтобы даже просто знать что-нибудь, говорит он, вы должны сначала симпатизировать, любить то, что вы хотите знать. Долг лежит в основе всякого нравственного движения. В человеке есть нечто более высокое, чем любовь к счастью, а именно любовь к самопожертвованию. Само собой понятно, что он является противником утилитарной, эволюционной и т. п. систем нравственности. Принципу всеобщей пользы он противопоставляет принцип труда. Всякий человек должен найти свой труд и совершать его, не справляясь с тем, принесет ли он «пользу», доставит ли «наслаждение», «счастье» и так далее. Труд – это и есть долг всякого человека, это и есть действительная религия.

Как историк Карлейль открывает новую эпоху. История имеет дело с жизнью; не ее задача выводить формулы, теоретизировать и так далее; она должна воспроизвести, оживотворить прошлое. На «Кромвеле» и «Фридрихе Великом» Карлейль показал, как следует это делать. Он дал неподражаемые образцы. Рядом с его «компиляцией» («Жизнь и переписка Оливера Кромвеля»), говорит Тэн, ступшеваются самые серьезные исторические труды. «История есть жизнеописание великих людей». Герои порождают и воплощают в себе, по мнению Карлейля, целые эпохи; для того чтобы понять эти последние, необходимо заглянуть в душу героя. Карлейль и делает это. Он действительно воскрешает из мертвых как главных, так и второстепенных деятелей, обнажает их сокровенные чувства и мысли и рисует поразительные по своей жизненности образы. А затем, имея перед глазами живых людей известной эпохи, вы можете соглашаться или не соглашаться с его выводами и рассуждениями.

В экономических вопросах Карлейль шел значительно впереди своего времени. В эпоху безусловного господства буржуазной политической экономии, теории *laissez faire*, он становится на этическую почву, указывает на необходимость государственного вмешательства, организации труда и так далее. В политике ему также ненавистно все внешнее, мишурное, и он повсюду старается отыскать действительную силу. Но сила должна идти за правдой, так как в конце концов всегда восторжествует последняя. Его «способнейший» человек как единоличный правитель вызывает обыкновенно недоумение; но в его критике занимающегося словопрением парламента, всеобщего голосования, демократии, аристократии и так далее много глубокой правды, которая даже в настоящее время начинает малопомалу проникать в сознание людей. В более спокойную эпоху человечество, быть может, найдет возможность вполне примирить демократию со «способнейшим» человеком.

Заслуги Карлейля перед Англией, можно сказать, неизмеримы. Только тот поймет, что он сделал для нее, говорят его биографы, кто попытается представить себе, какой бы была Англия в настоящее время, если бы не было Карлейля. Для целого ряда молодых поколений он был учителем: его голос звучал, «как десять тысяч труб». Ни один из выдающихся общественных деятелей современной Англии не избег его влияния. Он возбуждал и вдохновлял. Его практические выводы имели небольшое значение. Но не в них суть. Нужно было отрешиться от пессимизма и разочарования, обрести снова веру в человечество, в свои силы, нужен был всеобщий подъем энергии, – и он сделал все это. Не забудьте, что то было время, когда одни, под влиянием Байрона, беспрестанно твердили: «А мир,

как посмотришь вокруг, такая пустая и глупая шутка», а другие, ввиду новых гениальных изобретений, все надежды свои возлагали на «машину» и «правду» заменяли «пользой». В сфере экономических вопросов Карлейль оказал и весьма заметное практическое влияние: он, можно сказать, возвестил поворот от «невмешательства» (в сущности, конечно, мнимого) к «вмешательству» в пользу трудящегося класса, и его горячая проповедь, приправленная едким остроумием, производила громадное впечатление на лучших из современников. Как историк Карлейль воспитал целый ряд блестящих писателей: Прескотт, Фриман, Фроуд, Льюис (его биография Гёте) и др.; все они усвоили Карлейлев метод воспроизведения прошлой жизни.

Таков этот титан, стоящий, как выражается Альтгауз, на твердом утесе, о который бесследно разбиваются волны океана и грома небесные. «Карлейлю мало любить и искать добро, – говорит безвременно погибший друг его Стерлинг, – мало изображать его или созерцать в изображении других; мало понимать и радоваться этому познанию; ему нужно передовое место в рядах бойцов за добро, нужно служить только этому добру, жить и умереть для него».

Источники

1. *Thomas Carlyle. Reminiscences.*
 2. *Thomas Carlyle. Sartor Resartus.*
 3. *J.A. Froude. Thomas Carlyle, a history of the first forty years of his life.*
2 vols.
 4. *J.A. Froude. Thomas Carlyle, a history of his life in London. 2 vols.*
 5. *Richard Garnett. Life of Thomas Carlyle.*
 6. *John Morley. Critical Miscellanies.*
 7. *Stephen Leslie. Статья о Т. Карлейле в Dictionary of National Biography.*
 8. *Ип. Тэн. Новейшая английская литература в современных ее представителях.*
 9. *Дж. Ст. Милль. Автобиография. Пер. под редакцией Благосветлова.*
 10. *Статья о Т. Карлейле в «Вестнике Европы» за 1881 г., 5 и 6 кн.*
- Из произведений Т. Карлейля в русском переводе имеются: «История французской революции», т. 1; «Исторические и критические опыты»; «Герои и героическое в истории» (две беседы в «Современнике» за 1856 г.); «Нибелунги» (в «Библиотеке для чтения» за 1857 г.) и компиляция «Истории Фридриха Великого» (в собрании сочинений Дружинина, т. 5).

notes

Примечания

1

Карлейль написал воспоминания о своем отце в начале своей литературной карьеры.

2

в буквальном смысле (фр.)

caput mortuum (*лат.*) – остатки, отходы; нечто, лишенное содержания и смысла

4

засохший сад (*лат.*)

«Все было бы хорошо, только хлеба не хватает», – так отвечали санкюлоты правительству во время французской революции.

6

laisser faire (фр.) —попустительство, пассивная позиция,
самоустранение от участия